

Корсары Мейна

Автор:

Виталий Гладкий

Корсары Мейна

Виталий Дмитриевич Гладкий

Исторические приключения (Вече)

Семнадцатый век – эпоха расцвета пиратства. Морские разбойники всех мастей и национальностей отважно нападают на торговые караваны из Нового Света, везущие в Европу золото, сахар, какао и прочие богатства. Но и европейские купцы не сидят сложа руки – порой дают грабителям достойный отпор. Однако жажда приключений и легкой наживы безудержно влекут в тропические воды все новых и новых сорвиголов.

Вот так и встретились на морских перепутьях – юный французский аристократ и бездельник Мишель де Граммон и русский бурсак Тимко Гармаш, не подозревая, куда их заведет коварная судьба-злодейка и чем все это закончится...

Виталий Гладкий

Корсары Мейна

© Гладкий В. Д., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Часть первая. Сорвиголовы

Выходи в привольный мир!

К черту пыльных книжек хлам!

Наша родина – трактир.

Нам пивная – божий храм.

Ночь проведши за стаканом,

Не грешно упиться в дым.

Добродетель – стариканам,

Безрассудство – молодым!

Из сборника «Carmina Burana» (XIII в.)

Глава 1. Юный бретёр

Весенним утром 1650 года изрядно разбитая колесами повозок и лошадиными копытами дорога, ведущая в Париж, как обычно, не пустовала. В столь раннее время по ней передвигались в основном люди военные, пассажирские и почтовые дилижансы и редкие купеческие обозы ехали под охраной – уж больно времена во Франции настали тревожные. По приказу чрезвычайно непопулярного в народе кардинала Мазарини принц Конде, герой Тридцатилетней войны, и некоторые его друзья были арестованы и заключены в Венсенскую тюрьму, и на улицах Парижа забушевала Фронда. Королева-регентша Анна Австрийская перебралась со всем своим двором и двенадцатилетним сыном, королем Людовиком XIV, в Рюэль, где спряталась за надежными стенами замка Мальмезон. А что касается кардинала, то его преосвященство по-прежнему пребывал в своей резиденции под защитой

гвардейцев.

Еще не доехав до крепостных стен Парижа, пассажиры дилижанса мужского пола начали морщить носы, а дамы достали надушенные платочки. До этого они наслаждались чудесными запахами цветущих садов и свежескошенной луговой травы, но амбре, исходившее из канав фобургов – предместий, переполненных отбросами, мигом вернуло их к городской действительности. Миновав беспрестанно увеличивающуюся трясину канав, так не вяжущуюся с гербом города, на котором изображен серебряный корабль, плывущий по лазурным волнам, дилижанс оказался возле городских ворот, где еще с вечера в беспорядке толпились повозки торговцев, которые не успели попасть за стены до закрытия.

Покончив с формальностями, – в соответствии с королевским эдиктом, собственноручно написанным кардиналом Мазарини, привратники проверили документы, а чиновники получили городскую ввозную пошлину, – путешественники, несмотря на изрядно опустевшие кошельки, облегченно вздохнули, потому что путь в столицу французского королевства, перекрытый копьями и алебардами стражи, наконец стал свободным. Дилижанс углубился в лабиринт улочек в центре старого города, где почерневшие, увитые плющом массивные здания с высокими башнями, угловатыми бойницами и стрельчатыми арками соседствовали с покосившимися ветхими домишками.

Строения, каждый верхний этаж которых нависал над нижним, стояли столь плотно, что можно было перепрыгнуть с одного на другое. На узких улочках шириной около двух туазов[1 - Туаз – старинная французская мера длины. 1 туаз = 1,949 м. – Здесь и далее – примеч. автора.] из-за крутых высоких крыш, почти смыкающихся вверху, всегда царили сумерки, и парижанам нередко приходилось зажигать в комнатах свечи даже средь бела дня.

С раннего утра город наполнен шумом. Туда-сюда скачут по булыжным мостовым всадники, гвардейцы или мушкетеры короля, высекая искры подковами лошадей и привлекая внимание юных служанок, которые торопятся в лавку зеленщика, чтобы купить свежую спаржу, громко ругаются торговки, адски гремят тянущиеся из портов Сены повозки с дровами, сеном, винными бочками... А вот и наш многоместный дилижанс внес свою лепту в городскую какофонию – прогрохотал по улочке металлическими колесами, опрокидывая лотки и срывая вывески.

Апогея шум достигает на Сен-Жерменской ярмарке, где собирается цвет парижской ремесленной «аристократии» – галантерейщики, скорняки, суконщики, золотых дел мастера, бакалейщики... Степенные негоцианты в пышных кафтанах и просторных штанах из темного сукна, в шерстяных чулках с подвязками раскладывают на прилавках кольца, серьги, пелерины, манто, гобелены, зеркала. Крупные коммерсанты съезжаются сюда из всех городов Франции и даже из-за границы; португальцы продают амбру и тонкий фарфор; турки предлагают персидский бальзам и константинопольские духи, провансальцы торгуют апельсинами и лимонами.

Чего здесь только нет! Марсельские халаты и сукна из Лангедока, голландские рубашки и генуэзские кружева, фландрские картины и алансонские бриллианты, миланские сыры и испанские вина. Продавцы сладостей стоят на каждом углу и едва не хватают прохожих за рукава: купите, мсье, купите, мадемуазель, это так вкусно! Но особой популярностью у парижан пользуются вафли, без которых ни один гурман не мыслит себе бокал доброго вина.

На Новом мосту через Сену, построенном в 1604 году архитектором Андре де Серсо по приказу Беарнца – короля Генриха IV, как и на ярмарке, идет такая бойкая торговля, что рябит в глазах и звенит в ушах. Мост – излюбленное место цирюльников и зубодеров, различных штукарей, бродячих философов, недоучившихся студиязов, уличных хулиганов и аптекарей-шарлатанов, продающих всевозможные мази, пластыри, чудесные лекарства, спасающие в том числе и от губительного влияния космических явлений – комет и солнечных затмений.

Дилижанс остановился неподалеку от Нового моста на небольшой площади, которую парижане прозвали «Пять углов», потому что в этом месте сходились пять улиц, и уставшие пассажиры, нагруженные коробками и саквояжами, стали расползаться от него в разные стороны, как муравьи из разворошенного муравейника. Вместе с ними на изрядно загаженную лошадиным пометом брусчатку ступил и высокий господин в коротком дорожном плаще и широкополой шляпе с пером, судя по выправке, отставной военный, скорее всего, моряк – он был сильно загорелым, а такой густой загар приобретает только в южных морях. Этот вывод подтверждал и старый сабельный шрам во всю левую щеку, кроме того, на левой руке, в которой он держал дорожную сумку, у него не хватало мизинца.

У пояса господина висела длинная тяжелая шпага, которой можно было не только колоть, но и рубить. Она называлась «седельной» и использовалась большей частью в кавалерии, но ее применяли и французские моряки – в абордажных боях. Потертые ножны не имели украшений, но от этого оружие выглядело еще более внушительно.

Господин осмотрелся и решительно направился в сторону улицы Сен-Дени. По его уверенному виду было понятно, что Париж он знает достаточно хорошо и ему не требуются провожатые, особенно такие, как те трое мазуриков, что увязались за ним от стоянки дилижанса. Когда он оказался в узком пустынном переулке, его начали быстро догонять. Господин обернулся, насмешливо глянул на угрюмые лица мазуриков, приготовившихся ограбить его и раздеть до нитки, и пальцами правой руки изобразил какой-то знак.

Грабители ошарашенно переглянулись, и на их физиономиях появились кислые ухмылки – инцидент был исчерпан. Господин притронулся к шляпе, прощаясь со своими «провожатыми», и пошел дальше, насвистывая залихватскую мелодию. Мазурики немного потоптались на месте, глядя ему вслед глазами голодных псов, у которых прямо из-под носа увели сахарную кость, а затем спрятали ножи и пистолет и поплелись обратно, сетуя на свое невезение.

– ...Мишу! Ты не смеешь столь скверно относиться к господину де Молену! Он твой отец!

Так говорила небогато одетая женщина, лицо которой хранило следы былой красоты, своему младшему сыну, пятнадцатилетнему Мишелю де Граммону, хорошо известному в определенных кругах парижского общества забияке, хулигану и бретёру.

– Ма, мой отец на небесах, – мягко отвечал Мишель. – А де Молен – твой муж. Он мне никто.

– Он кормит тебя и всю нашу семью!

– Да уж, кормит... – Мишель пренебрежительно хмыкнул. – Если бы не те продукты, что я достаю, наша семья, – «наша» он сказал с нажимом, – и твой де Молен уже ноги протянули бы с голоду.

«Достаю» было чересчур громко сказано. Хотя значение этого слова близко к правде, ведь нельзя же назвать кражу честной работой.

Родной отец Мишеля, офицер королевской гвардии съёр Николя Граммон де ля Мот, гасконец, умер от ран три года назад, оставив жену с двумя детьми – сыном и дочерью – почти без средств к существованию, если не считать его мизерной военной пенсии в тридцать ливров[2 - Ливр – денежная единица Франции, бывшая в обращении до 1795 года. 1 ливр = 20 су = 240 денье. Были ливры турецкий и парижский. Как монета ливр выпускался только один раз в 1656 году весом в 8,024 г (7,69 г серебра).], которой едва хватало, чтобы кое-как свести концы с концами. Немного погоревав по безвременно усопшему мужу, мать снова вышла замуж, и опять-таки за гвардейского офицера, изрядного кутилу и выпивоху.

Сестра Мишеля, которую звали Колетт, была младше брата на год, и ей уже присматривали добропорядочного, состоятельного жениха. И надо же такому случиться, что новый папаша Мишеля как-то притащил в дом сослуживца-офицера, такого же беспутного гуляку, как и сам, тому попалась на глаза Колетт, и он начал за ней ухаживать. Впрочем, Мишель подозревал, что господин де Молен давно лелеял мысль избавить семью от двух ртов, для начала как можно скорее выдав замуж Колетт, хотя с четырнадцатилетней бесприданницей это дело было нелегким.

Что касается Мишеля, то бравый гвардеец не сомневался, что его пасынок закончит свои дни на Гревской площади, где казнили не только простолюдинов, но и дворян. А если учесть, что прево[3 - Прево – в феодальной Франции XI–XVIII вв. королевский чиновник или ставленник феодала, обладавший до XV века на вверенной ему территории судебной, фискальной и военной властью; с XV века выполнял лишь судебные функции.], епископы, капитулы, аббаты и приоры поставили виселицы на Рыночной площади, перекрестке Трауар, Свином рынке, заставе Сержантов, площади Дофин, Кошачьем рынке, возле ворот Бодэ и Сен-Жак и вообще везде, куда ни пойдешь, то Мишель де Граммон с его проделками, совсем не похожими на детские шалости, обязательно должен был попасть если не в руки правосудия, то в лапы инквизиции точно.

– Мишель, как ты можешь такое говорить... – бедная женщина залилась слезами.

Уж чего-чего, а материнских слез юный забияка не мог выносить. Он выскочил из дома как ошпаренный и, не оглядываясь, побежал вниз по извилистой, как змейка, улице Могильщиков, где стоял их старенький двухэтажный домик, к церкви Сен-Сюльпис. Там, на улице Вьё Коломбье – Старой Голубятни, которая выходила к главному, восточному, фасаду церкви, Мишеля должны были ждать его приятели, такие же сорвиголовы, как и он сам.

Они слонялись там уже добрых полчаса, все сыновья обедневших дворян. Юные задиры отличались от своих сверстников из парижского Двора чудес лишь тем, что имели право носить шпаги и не занимались попрошайничеством. Их одеяние – в основном обноски – оставляло желать лучшего, а дерзкие манеры вызывали у встречных прохожих непреодолимое желание свернуть в первый попавшийся переулок.

– Мишу, какого дьявола?! – воскликнул рослый крепыш, которого звали Готье. – Сколько можно тебя ждать?! Я голоден, как волк!

– И мы, и мы голодны! – поддержали Готье остальные – худой и длинный, как копье, Морис и черный, словно галка, Жюль, прозванный из-за своего малого роста Мышонком.

– В таверну? – спросил Мишель, у которого тоже кишки играли марш; кусок черствого хлеба, посыпанного солью, и немного кислого вина, которое осталось от ужина папаши, – весь завтрак юного де Граммона – ни в коей мере не могли насытить его молодой здоровый организм.

– В таверну! – хором ответили приятели.

– А деньги у вас есть?

При этих словах Мишеля живые лица сорвиголов вмиг стали унылыми, как у похмельного монаха во время ранней заутрени. Увы, деньги в кошельках юных дворян водились редко, а если им и случалось туда попасть каким-то чудом, то хранились они недолго – Париж не зря заслужил прозвище города соблазнов.

– Выше головы! – воскликнул Мишель де Граммон. – Сегодня кредита нам, увы, не видать как своих ушей, но деньги все равно у нас будут. За мной!

Он был на год младше самого юного из компании, Жюля, тем не менее место вожака занял по праву. Мишель прослыл большим выдумщиком и отчаянным храбрецом.

Далеко ходить за деньгами не пришлось. Возле церкви, как обычно, стоял упитанный монах-доминиканец, с напускным смирением воздев глаза к небу. Он собирал подаяния в кружку для пожертвований – опечатанную жестянку с прорезью для монет. День был праздничный – собственно говоря, когда началась Фронда, парижане что-то праздновали почти каждый день, – поэтому церковь не пустовала, и людской поток цеплялся за монаха, как льдины во время весеннего половодья за опору моста. При этом раздавался приятный звон, уведомлявший Отца небесного, что очередная монетка на благое дело скрылась в утробе изрядно потяжелевшей жестянки, которая висела поверх круглого живота монаха на тонком сыромятном ремешке.

Сорванцы мигом поняли, что намеревается сделать Мишель де Граммон. Такие поступки, тем более возле церкви, считались большим грехом, но и сам затейник, и его приятели давно стали вольнодумцами, а значит, безбожниками, хотя никому в этом не признавались, и им на условности было наплевать.

Отвлечь внимание монаха вызвались Готье и Морис, Жюль, как самый ловкий из всех четверых, должен был украсть жестянку, а Мишель, выглядевший наиболее солидно – он донашивал вещи отца, поэтому имел вполне приличный вид, если, конечно, не сильно присматриваться, – выступал в качестве прикрытия. Все случилось в один момент: Готье и Морис «нечаянно» толкнули доминиканца и забормотали извинения, Жюль, полоснув острым, как бритва, ножом по ремешкам, поддерживающим жестянку, подхватил ее, спрятал под камзол и был таков, мигом растворившись в толпе, а Мишель благородно оттолкнул прилипших к монаху сверстников и гневно сказал:

– Пошли прочь! Святой отец, простите их, они нечаянно.

– Бог простит, – с прежним смирением ответил монах, который вдруг почувствовал себя как-то неуютно.

Ему показалось, будто с ним что-то произошло, но что именно, он не мог понять, пока любезный юный дворянин не отправился восвояси. Хлопнув ладонью по тому месту, где должна висеть жестянка, он вдруг ощутил, что ее там нет. Это

было удивительно и необъяснимо. Монах озадаченно огляделся, даже посмотрел на низкие тучки – уж не решил ли какой-нибудь ангел доставить Всевышнему подаяния горожан самолично, минуя промежуточные инстанции? – а затем, когда до него наконец дошла вся пикантность ситуации, удивительно тихо для его комплекции пискнул:

– Воры... Мсье, меня обокрали!

Мсье, к которому он обращался, был одним из стражников, в обязанности которых входило наблюдение за порядком возле церкви Сен-Сюльпис. Флегматичный малый сонно посмотрел на монаха и не без удивления поинтересовался:

– Что можно у вас украсть, святой отец?

– Кружку для пожертвований!

– Ай-яй-яй... Как нехорошо...

Стражник, а он был сержантом, причем ветераном, о которых говорят «тертый калач», с деланным сочувствием покачал головой.

– Надеюсь, этого негодяя накажет Господь! – добавил он.

– Как, вы разве ничего не собираетесь предпринять?! – возмутился монах.

– Обязательно предпримем, – пообещал сержант. – Это наш долг – ограждать уважаемых граждан от преступников. Но для этого нужно ваше заявление парижскому прево, а уж он назначит расследование и...

– Позвольте! – монах возвысил голос до петушиного фальцета. – Вы должны немедленно догнать вора и вернуть пожертвования благочестивых прихожан!

– Укажите мне, святой отец, кто этот вор, и я тут же его задержу.

Монах беспомощно оглянулся, но увидел лишь постные лица парижских буржуа, торопившихся поблагодарить Всевышнего за его заботы. Похоже, стражник

издевался над ним. Тогда монах с горечью махнул рукой и побрел прочь от церкви, мысленно составляя речь для отчета перед аббатом, которому очень не нравилось, когда те, кто собирал пожертвования, возвращались в монастырь с пустыми кружками. Иногда их воровали, но большей частью монашеская братия оставляла содержимое кружек в какой-нибудь таверне, и чаще всего в дни поста.

Сильнее всего монаха волновал вопрос, сколько ему придется поститься в наказание за ротозейство, – сидеть на одном хлебе и воде – ведь кормушку стащили какие-то богохульники. По расчетам выходило, что не меньше недели. В порыве отчаяния он сунул руку под одежду, достал кошелек, пересчитал монеты и, с удовлетворением вздохнув, направил стопы в ближайшую таверну – перед предстоящим вынужденным постом не грех плотно поесть и выпить пару кувшинов доброго вина, чтобы укрепить дух.

В кружке доминиканца лежал целый клад для голодных юнцов – в общей сложности около пяти экю[4 - Экю – название средневековых золотых и серебряных монет Франции. В 1640-41 гг., во времена царствования короля Людовика XIII, новой основной золотой монетой стал луидор, а все экю стали выпускать из серебра 917-й пробы. Первоначально экю стоил 3 ливра; позже его стоимость менялась, пока в 1726 году не была принята равной 6 ливрам.].

– Гуляем! – в радостном возбуждении вскричали молодые дворяне.

Их радость можно было понять, потому что жирный каплун в таверне стоил тридцать су, дюжина сосисок – двадцать четыре су, а пинта[5 - Пинта – средневековая мера жидкости; английская пинта – 0,57 л.] вина – всего три су. Так что денег вполне хватало на добрый пир.

Выбор остановили на таверне «Шлем сарацина». В Париже было еще одно питейное заведение с подобным названием – просто «Шлем», но там собирались люди более-менее состоятельные, в том числе гвардейцы короля и мушкетеры, а в той таверне – скорее затрапезной харчевне, – куда направились наши сорвиголовы, обычно толклись людишки неприятельные, без серьезных жизненных принципов, готовые за пару денье отправить на тот свет кого угодно. Этим-то «Шлем сарацина» и нравился беспутным юнцам; когда ходишь по лезвию ножа, жизнь перестает казаться пресной, унылой и бессмысленной.

Хозяин таверны по прозвищу мсье Жиго[6 - Жиго – жаркое из сочной, хорошо упитанной задней части барашка или теленка; прозвище хозяина таверны было весьма симптоматично.], изрядно располневший валлонец, которого за глаза все звали Папаша Тухлятина, был сама любезность. Он чуял деньги, как кот мышей, – на расстоянии. Иногда Мишелю казалось, что он видит кошельки клиентов насквозь.

Вскоре компания уже пиновала, удобно устроившись за столом. Несмотря на свой возраст, Мишель де Граммон был весьма предусмотрителен; он усадил приятелей неподалеку от выхода, в углу, чтобы обезопасить тыл. Мало ли что может взбрести в голову обитателям Двора чудес – завсегдатаям заведения Папаши Тухлятины; для них удар ножом в спину – обычное дело.

Свое прозвище мсье Жиго получил из-за запаха, которым пропиталась вся его одежда. Это не было зловонием отхожего места или какой-нибудь выгребной канавы. Просто у Папаши Тухлятины был чересчур едкий пот, по запаху напоминавший вонючий булонский сыр, который употребляли в пищу только большие гурманы. Хозяин таверны, несмотря на свое прошлое – поговаривали, будто он пиратствовал в Ла-Манше, – был очень набожным, поэтому держался подальше от воды.

В вопросах гигиены мсье Жиго, наверное, хотел быть святее папы римского, ведь уход за телом католическая церковь считала грехом. Монахи-проповедники призывали ходить в лохмотьях и никогда не мыться, ибо только таким образом можно достичь полного духовного очищения. Мыться нельзя было еще и потому, что при этом человек смывал с себя святую воду, к которой прикоснулся при крещении. В итоге многие не мылись годами или не знали воды вообще, а грязь и вши считались особыми признаками святости. Вшей даже называли «божьими жемчужинами».

В остальном Папаша Тухлятина был вполне приятным человеком, даже мог бесплатно накормить кого-нибудь из постоянных клиентов, если тот не при деньгах, ведь он точно знал, что с ним обязательно рассчитаются – рано или поздно. Если, конечно, должник не попадет в тюрьму Шатле, где находятся резиденция прево Парижа и суд бальи[7 - Бальи – в северной части средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа (бальяжа).], самый серьезный трибунал после парламента. Но мсье Жиго очень не любил обманщиков, и горе тому, кто осмеливался обвести его вокруг пальца. Этих мошенников полицейские

комиссары и жандармы потом вылавливали из Сены, а обитатели Двора чудес лишь многозначительно ухмылялись и раскланивались с Папашей Тухлятиной с таким видом, будто он по меньшей мере дофин.

Мишель подозревал, что мсье Жиго приторговывает краденым, – а как не торговать, если все знаменитые воры ходили в его приятелях? – но свои мысли держал при себе. Он не боялся хозяина таверны, да и вообще не имел склонности кого-то бояться, но потерять безотказного кредитора ему не хотелось. Вот и сейчас юный сорвиголова прежде всего отсчитал в широкую ладонь Папаши Тухлятины свой долг – пятьдесят су, прибавив еще пять монеток, – набежавшие проценты, хотя мсье Жиго никогда этого не требовал. А спустя полчаса молодые дворяне наслаждались вполне приличной едой – несмотря на затрапезный вид таверны, в «Шлеме сарацина» готовили неплохо, – пили вино и болтали разные глупости, как это обычно бывает в компании подвыпивших юнцов.

Лишь один Мишель де Граммон не поддался всеобщей эйфории. Он уже знал из собственного, пусть и небольшого, опыта, что если день начинается скверно, то и закончится он не лучшим образом. Сначала он поругался с де Моленом, который опаздывал на службу и был из-за этого сильно раздражен, а потом поссорился с матерью, которую не столько любил, сколько жалел. Они не были особо близки – Мишель души не чаял в усопшем отце, – но он все же был мужчиной, а значит, защитником, поэтому поведение господина де Молена ему категорически не нравилось, и юный де Граммон готов был без колебаний перерезать ему горло, если тот еще раз попробует дать волю рукам и ударит мать.

Через стол сидела большая компания воров, которых Мишель узнавал по манере сорить деньгами. Похоже, мазурики обмывали ночную удачу. Они много пили, постоянно ссорились, даже хватались за ножи, но время было раннее, и до серьезных схваток пока дело не доходило.

Впрочем, у мсье Жиго имелся отличный аргумент на такой случай. В уголке возле стойки скромно притулился здоровенный малый, лицо которого было изрядно изуродовано. Да и фигура скособочена, и ходил он, как казалось со стороны, прихрамывая на обе ноги. Судя по всему, над ним хорошо поработал палач. Это был слуга Папаши Тухлятины – вышибала по прозвищу Кривой Рот. Настоящего имени слуги мсье Жиго никто не знал, да и вряд ли кому приходила в голову мысль поинтересоваться, как его зовут.

Рядом с вышибалой стояла его увесистая дубинка, один конец которой был обтянут толстой кожей. Мишелю однажды довелось наблюдать, как ловко Кривой Рот управляется со своим оружием, и он дал себе зарок никогда не шалить сверх меры в заведении мсье Жиго. За минуту вышибала успокоил четырех забияк, вооруженных ножами, – а один даже размахивал тесаком, – сначала уложив их на пол, а потом вышвырнув на улицу, как нашкодивших котов. Кожа на дубинке смягчала удар, и никто сильно не пострадал – Папаша Тухлятина не хотел терять клиентов, – но Мишель был уверен, что шмели в голове незадачливых драчунов гудели долго.

– Мсье, вам не скучно? – раздался над ухом Мишеля приятный женский голосок. – Не позволите ли присесть к вашему столу?

Он поднял глаза и увидел весьма симпатичную белокурую особу по имени Жюстин. Она обращалась не к нему лично, а ко всей компании. Это была одна из девушек легкого поведения, обслуживающих клиентов мсье Жиго. После того как пуритане разогнали парижские бордели, многие девицы оказались на улице. Мало того, их превратили в преступниц. Раньше зарегистрированные куртизанки носили опознавательный знак, оберегавший их от изнасилований шайками молодых людей, слонявшихся по городу. Девушки могли обращаться в полицию, если клиенты избивали или обманывали их. Но теперь они, лишившись такой возможности, практически ушли в подполье.

Особенно им доставалось от шантажистов и вымогателей; те спали с девицами, а потом отказывались платить, угрожая выдать их полиции, или требовали в обмен на молчание часть выручки. А хозяева таверн без зазрения совести брали с них повышенную плату. Лишенные официальной защиты, действуя вне закона, куртизанки все чаще связывались с сутенерами. Какой-нибудь бывший солдат или картежник охранял маленький бордель, управляясь с буйными клиентами и отпугивая любопытных соседей. Полицейские обычно не преследовали сутенеров, если только те исправно платили мзду и не трогали девиц из почтенных семей, поэтому они могли делать со своими подопечными все что угодно.

В отличие от сутенеров и других содержателей таверн, мсье Жиго относился к падшим девицам с сочувствием и не обдирает их как липку. Они находились под его покровительством, и всем это было хорошо известно, в том числе и буйному преступному племени, обитающему во дворах чудес. Поэтому

в таверну «Шлем сарацина», несмотря на ее внешнюю непрезентабельность, девушки приходили самые лучшие – а других хитрый Папаша Тухлятина и не принимал, – потому что знали, что любой, кто поднимет на них руку или не заплатит за услуги, рискует получить знатную трепку, а то и остаться без мужского достоинства, – мсье Жиго не мог позволить кому-то лишать его законного заработка.

– Пошла прочь! – грубо ответил Готье.

– Э-э, не так резво, петушок! – разозлилась девушка. – А то как бы тебе перышки не пощипали.

– Вы извините нас, мадемуазель, – сдержанно сказал де Граммон, которого несколько покоробил ответ приятеля; сам он с женщинами всегда был любезен, – но мы не нуждаемся в ваших услугах.

– Хо-хо! – Жюстин вызывающе подбоченилась. – Дворянчикам не нравится черная кость! Мы для них слишком грязны и невоспитанны! Люди, вы все слышали?

Ее голос перекрыл шум таверны.

– Жюстин, милашка, тебя кто-то обидел?

За столом, где сидели воры и грабители из Двора чудес, зашевелились. Мазурики изрядно выпили и жаждали приключений, поэтому слова девушки были подобны хмелю, попавшему в бродильный чан.

– Да! Мсье, эти негодяи меня оскорбили!

Жюстин, похоже, завелась не на шутку. Она сама вызвала бурю, сама подняла все паруса и теперь неслась прямо на рифы, бросив штурвал.

– Вздуть их как следует! – крикнул кто-то.

– А ты попробуй! – взъярился заводной Готье.

Молодые дворяне схватились за шпаги, потому что к ним с кровожадными намерениями бросились защитники Жюстин. На Мишеля наступал здоровенный детина, вооруженный французским дюссаком – грубым оружием крестьян, рукоять и эфес которого были выкованы из одного куска металла. Другие мазурики держали в руках не только привычные ножи. Один поигрывал кистенем – короткой дубинкой, к которой цепью крепилась гиря с металлическими шипами, второй размахивал длинной двузубой вилкой – весьма опасным оружием в подобных обстоятельствах, а третий, с хитрой лисьей физиономией, достал спрятанный под одеждами мизерикорд – кинжал с трехгранным сечением, раны от которого очень долго заживали.

Здесь нужно объясниться. Прежде, до того как по улицам Парижа загуляла Фронда, серьезное оружие носили только дворяне и люди на королевской службе. Остальным для выяснения отношений вполне хватало ножей, палок и пращ. Но когда столица Франции забурлила, всякий парижанин, независимо от принадлежности к тому или иному сословию, счел крайней необходимостью вооружиться как можно обстоятельней. Поэтому никто не удивлялся, когда в таверны притаскивали едва не орудия; а уж про кистени и дюссаки и говорить нечего.

Что касается стражей порядка, то они старались не замечать, что плащи парижан стали гораздо шире и под ними прятался целый арсенал. Все делали вид, что ничего противозаконного не происходит, а когда начиналась кровопролитная стычка, полицейские предпочитали ретироваться в соседний квартал, где царили тишь, гладь и божья благодать.

Схватка завязалась нешуточная. Мазурики наседали, а юные дворяне храбро отмахивались. Папаша Тухлятина невозмутимо восседал за стойкой, держа наготове два заряженных пистолета. Он ждал, пока клиенты нарежутся вволю. А иначе нельзя. Он, конечно, мог пресекать такие вещи в зародыше, но зачем? Отдых должен быть полноценным, а разве истинный парижанин может считать его таковым без доброй драки? И потом, после подобных сражений остается много поломанной мебели и разбитых бутылок, за что драчуны платят втридорога.

Мишель де Граммон сносно владел шпагой. Отец приучал его к оружию с малых лет, едва Мишу крепко встал на ноги, а поскольку бравый офицер-гвардеец был одним из лучших фехтовальщиков в своем полку, то сын перенял от него много оригинальных ухваток. И после смерти отца юный Мишель не расставался со

своим клинком; он даже на ночь укладывал его рядом с постелью. Ежедневно он подолгу упражнялся, часами отрабатывая различные фехтовальные приемы. Каждый дворянин должен был хорошо владеть холодным и огнестрельным оружием, потому как смута во Франции, то затихая, то разгораясь, словно пожар в летнем лесу, длилась многие годы, и часто жизнь человека зависела от одного-единственного удара шпагой.

Но уметь обращаться с холодным оружием и пускать его в ход по любому поводу – это не одно и то же. Мишель де Граммон никогда не отказывался подраться с кем-нибудь на дуэли. В основном это были такие же молодые, задиристые петушки из дворян, как и он сам. Но если другие юнцы не спешили без особой нужды хвататься за шпагу, то Мишель поступал с точностью до наоборот – он искал стычек, нахально провоцируя противников. На улице Могильщиков, где он жил, и в районах, к ней близких, Мишель де Граммон, несмотря на юные годы, уже считался бретёром.

Противник Мишелю попался из бывалых. Похоже, ему пришлось немного повоевать, и он был слишком высокого мнения о своей персоне: что такое какой-то юнец против закаленного вояки? Но дылда с дюссаком сильно ошибался. Мишель де Граммон был гибким, как лоза, и быстрым, словно ласка. Вскоре здоровяк понял, что был не прав и несколько переоценил свои возможности, но поздно – шпага юнца ударила его как молния, и бандит свалился на изрядно затоптанный и заплеванный пол.

И тут в таверне гроыхнуло. Это Папаша Тухлятина, обеспокоенный схваткой, которая рисковала перейти в побоище, решил положить конец опасным играм и выстрелил в потолок.

– Всем стоять! – взревел хозяин таверны. – Успокойтесь, господа! Шпаги в ножны, мсье! Тибулен, это и тебя касается! – рявкнул он на мазурика, который решил воспользоваться моментом и намеревался атаковать Жюля. – Иначе получишь свинцовую примочку в лоб! Ты меня знаешь, я не шучу.

– Он убил Антуана, – угрюмо сказал Тибулен, указывая на Мишеля. – Антуан не только сводный брат Великого Кэзра, но еще и кагу. Мсье Жиго, тебе известны наши правила...

В таверне воцарилась напряженная тишина. Кто же не знает Великого Кэзра – короля нищих и воров Франции? Его резиденция находилась в самом знаменитом Дворе чудес, между улицами Кэр и Реомюр, рядом с кладбищем Невинных. Его заместители, так называемые кагу, собирали дань с нищих и воров каждой провинции Франции и каждого района Парижа. Кагу принимали в кланы новичков, давали им новые имена и следили за порядком на вверенных им территориях. Среди кагу было много бывших студиозов и отставных офицеров. Видимо, Антуан как раз и был из отставников.

– Что ж, это меняет дело, – немного поразмыслив, сказал Папаша Тухлятина. – Они ваши. Я умываю руки.

После этих слов Мишель и его друзья мигом оказались в сверкающем кольце палашей, ножей и тесаков. Их окружили почти все посетители таверны. Некоторые держали в руках и пистолеты.

– Суд! – толпа произнесла это слово на едином дыхании. – На суд к Великому Кэзру!

– Господа! – обратился мсье Жиго к юным дворянам. – Великий Кэзр мудр, он рассудит по справедливости. Не нужно сопротивляться, иначе вы все умрете. А мне потом убирай...

Мишель де Граммон и его друзья затравленно огляделись по сторонам и вынуждены были признать, что все пути к бегству перекрыты.

– Ладно, ваша взяла... – мрачно сказал Мишель. – Но шпаги мы не отдадим!

– Это от вас и не требуется, – сказал Тибулен; похоже, в шайке, которая гуляла в таверне Папаши Тухлятины, он был за главного. – Только дайте слово, что не попытаетесь сбежать.

– Слово! – твердо сказал Мишель.

– Слово! – не без некоторого колебания повторили и остальные юные дворяне.

Они ни в коей мере не трусили, хотя перспектива встречи с Великим Кэзром все же вызывала трепет. Юнцы из обедневших дворянских семей, дети парижских улиц, они часто попадали в разные переделки, нередко смертельно опасные, поэтому за свою жизнь у них особого страха не было. В крайнем случае им придется умереть, но с оружием в руках, что считалось честью. Сорвиголовы безропотно последовали в окружении шайки бандитов и воров по направлению улицы Сен-Дени, откуда до Двора чудес рукой подать, а Папаша Тухлятина вызвал за свой счет гробовщика, чтобы предать тело кагу Антуана земле.

Он знал, что своим даже самым выдающимся товарищам обитатели Двора чудес пышных похорон с отпеванием не устраивают. В этом плане все они были философами и безбожниками: есть время жить, а есть – умирать. После нет ничего, пустота, поэтому стоит ли заботиться о бранных останках? Тем более что многие воры и бандиты кончали свою жизнь на виселице, после чего никаких церемоний не предполагалось. Зарыли в землю – и ладно. Похороны – это всегда нежелательные расходы, и не лучше ли оставить денежки в какой-нибудь таверне, чем тратить их на святош, бормочущих над гробом непонятную простому люду латынь.

Глава 2. Бурсак

– Сбегу! Ей-богу, сбегу! На кой ляд такая жизнь?! Чуть что – сразу на воздуши[8 - Воздуси – наказание розгами, вымоченными в соленой воде, без скамьи, на весу, с помощью служителя.]... – так говорил своим приятелям бурсак[9 - Бурсак (от нем. Bursche) – парень, студент. Бурсой называлось общежитие при Киевском братском училище (с 1632 года – Киево-Могилянский коллегиум).] по имени Тимко Гармаш, почесывая изрядно посеченный розгами афедрон[10 - Афедрон – седалище, зад (устар.)].

– Прибежишь домой, а там батька сдерет с тебя три шкуры, – посмеивались бурсаки. – И снова вернет в коллегиум. Первый раз, что ли?

– Кто сказал, что я побегу домой?

– А куда?

Тимко немного подумал, а потом выпалил:

– В Запорожскую Сечь!

Бурсаки расхохотались, а Микита Дегтярь, закадычный дружок Тимка, иронично молвил:

– Там только философов и не хватало.

– Да ну вас!

Обиженный Тимко поплелся в свой угол и упал на полати лицом вниз; теперь ему придется спать на животе по меньшей мере неделю, пока не заживет спина и то, что пониже.

– Сними рубаху, – слышался голос Микиты.

Тимко повиновался. Микита начал смазывать ему побитые места густой темно-коричневой мазью, в составе которой были барсучий жир, березовый деготь и еще много чего. Ее сделала мать Микиты, сельская знахарка, хотя Тимко подозревал, что она была ведьмой. Что бы Микита ни делал, какие штуки ни откалывал, почти всегда ему удавалось избежать наказания, в отличие от Тимка, которого пороли регулярно, за малейший пустяк, – собственно, как и других бурсаков. Похоже, мать Микиты заколдовала сына, или он был чересчур удачлив.

Тимко учился в Киево-Могилянском коллегиуме. Большая часть бурсаков имела все основания называться «злыденной братией». Исключение составляли выходцы из обеспеченных семей. Одни жили в своих собственных, специально для этого купленных домах, а другие, менее зажиточные, квартировали у киевлян на полном довольствии. С этими «паньчами» учащиеся коллегиума, проживавшие в бурсе, не дружили и часто дрались.

В общежитии на Подоле всегда было холодно и сыро, особенно зимой, бурсаки часто болели и даже умирали. Иногда, чтобы согреться, они разбирали заборы мещан и городское ограждение из больших деревянных колод и несли эти дрова в бурсу. Не имели они и стипендии. А поскольку у многих просто не было денег на жизнь, киевские бурсаки изыскивали всевозможные средства, чтобы

прокормиться, одеться и продолжить обучение.

Они ежегодно избирали из своей среды двух префектов, нескольких ассистентов и секретарей с приятной внешностью и бархатными голосами. Им вручалась особая книга – «Album», с которой спудеи[11 - Спудей – студент или школяр.] обходили киевских граждан и жителей окрестных сел и где регистрировались все пожертвования. Но народ не очень убеждали ангельские голосочки просящих, потому как все хорошо знали, что собой представляет лихое и бесшабашное бурсацкое племя. Иногда их не пускали даже на порог, поэтому улов префектов был очень скудным, и его едва хватало на письменные принадлежности.

Летом бурсакам приходилось наниматься прислужниками, сторожить, батрачить, пасти лошадей. Спудеи, как правило, имели хорошие голоса и иногда получали небольшие деньги за участие в митрополичьем хоре, за чтение псалмов, «утешительных речей» над покойным, стихов для знатных лиц, за составление панегириков. На праздники, особенно Рождество и Пасху, бурсаки ходили по городу с колядками, кантатами, вертепами и поздравительными песнями. А кое-кто, совсем отчаявшись, стоял на паперти и просил милостыню.

На время летних каникул некоторые спудеи получали паспорт и шли на «репетиции» по городам и весям, чтобы собрать средства на следующий учебный год. Путешествовали они два-три месяца, а то и год. Ходили небольшими группами, имели вертепы, заготовки для поздравительных речей, ноты, пели в церквях, на различных торжествах, отпевали покойников. Некоторым удавалось устроиться домашними учителями, писарями. Иногда им везло, и они возвращались в коллегийум с лошадей, которая везла заработанный странствующими дьяками, как их называли, скарб. Потом они могли какое-то время спокойно продолжать обучение.

Наиболее надежным способом добывания необходимых средств были «кондиции» – право учить детей в зажиточных киевских семьях или натаскивать богатых спудеев, которые не успевали. Но «кондиции» предоставлялись лишь лучшим студентам – богословам и философам. За это бурсаки имели «решпект» – плату едой, а иногда и квартиру от своих подопечных. Увы, в учебе Тимко не блистал, поэтому ему приходилось влачить жалкое существование вместе с основной массой бурсаков.

Бедность заставляла спудеев даже воровать. Подольская площадь всегда привлекала бурсаков. Предусмотрительные торговки семечками, арбузами, фруктами наперебой предлагали голодной братии свой товар, лишь бы они оставили их в покое. Бурсаки рыскали по улицам Киева, заставляя горожан быть осторожными. Торговки, сидевшие в палатках на базаре, закрывали руками пироги, бублики и прочую сдобу, как наседки своих цыплят, едва завидев идущего мимо бурсака. Но это мало помогало. Спудеи знали тысячу способов обвести продавцов вокруг пальца, и ничего с этим поделать было невозможно.

Раз в две недели бурсаков водили в баню. Обычно это происходило ранним утром, когда только начинал брезжить рассвет и горожане досматривали последние сны. Начальство коллегиума просто боялось показывать при свете дня своих подопечных во всей красе. Грязные, оборванные, в разнородной одежде, бурсаки шли по городу с разбойничьим свистом и хохотом. Путь процессии был отмечен вырванными тумбами, разбитыми стеклами и страшным шумом. Скулили собаки, в которых бурсаки бросали камни, на первых этажах звенели оконные стекла, в которые стучали, чтобы разбудить жителей. Старушки, ранние пташки, которые плелись куда-то по своим делам, встретив толпу спудеев, крестились, спешили перейти на другую сторону улицы и шептали:

– Матерь Божья! Спаси и сохрани! Да это, никак, бурса тронулась! Свят-свят...

А уж дрались бурсаки с городскими по всякому поводу и без, в любое время дня и ночи. Особенно когда у них появлялись деньги, чаще всего в начале осени, на праздники. Тогда киевские кабаки гудели, изрядно подпившие спудеи горланили песни до утра. Это мало кому нравилось, киевляне любили ночную тишину, поэтому стычки происходили постоянно. Иногда в запале от бурсаков перепадало и страже. Спудеи хорошо умели драться на кулаках, а некоторые – из казачьих семей, как Тимко, – и оружием владели вполне прилично.

– А что, погуляем сегодня, братцы? – спросил спудей, которого прозвали Ховрах.

Ховрах, как та степная зверушка, от которой он получил свое прозвище, был очень запаслив, и у него всегда можно было разжиться куском хлеба или перехватить несколько грошей. Он был настолько великодушен, что никогда не требовал возврата долга в срок, но все и так приносили ему денежку, потому что в следующий раз, когда голодный должник со скорбной миной протягивал грязную пятерню за очередным кредитом, Ховрах молча показывал ему кукиш

и на этом прекращал с таким типом общаться.

Ховрах был щедр и часто устраивал дружеские попойки за свой счет. Откуда он брал деньги, было загадкой для всех. Ховрах происходил из семьи приходского священника с кучей детей – «семеро по лавкам». Поэтому он никогда не ездил домой на каникулы, взять там было нечего. Не исключено, что Ховрах воровал, но так удачно, что ни разу не попался.

– Гулять не на что, – ответил Микита и с сокрушенным видом вывернул карманы.

– А разве я спрашивал про деньги? – улыбнулся Ховрах.

– Нет.

– Так о чем тогда речь? Сегодня я угощаю. Поднялись и потопали.

Бурсаку собраться – только подпоясаться. Вскоре шесть сорвиголов шагали по лабиринту улочек и переулков, распугивая прохожих и собак, – меньшей компанией шататься по ночному Киеву опасно. На темном небе появился месяц, озарив все вокруг, и в его свете стал виден пивной бочонок – вывеска шинка. Бурсаки заглянули в приоткрытую дверь, повздохали и пошли дальше. За добротными дубовыми столами сидели цеховые. А с ними бурсаки не ладили, особенно с подмастерьями, с которыми частенько дрались.

Но вот показалась башня с флюгером – спудеи добрались до Ратушной площади. Там располагался колодец с каменным ангелом и ковшом на цепи, и бурсаки попили воды; несмотря на позднее время и на то, что на дворе апрель, погода стояла теплая, и после быстрой ходьбы их одолела жажда. Вблизи колодца высился Успенский храм, и бурсаки осенили себя крестным знаменем – кто истово, а кто небрежно, вроде как отмахнулся.

Рядом по Замковой горе тянулся Боричев взвоз, по которому бурсаки и поднялись к заветному шинку. Он притулился возле бернардинского кляштора – монастыря. В старинных преданиях повествовалось о том, что когда на Нижний город опускалась ночь и он погружался в полную темноту, на гору за кляштором слетались на шабаш киевские ведьмы.

Тимко невольно поежился; он побаивался разной чертовщины, хотя и считал, что добрая сабля возьмет любую нечисть. Но его карabela[12 - Карabela - кривая сабля, имевшая широкое распространение среди польской шляхты в XVII-XVIII вв. Основным отличием карabelы является рукоять в форме орлиной головы. Похожие сабли применялись в разных странах, включая Русь. В Польшу этот тип сабель, скорее всего, попал из Турции.] и пистолы хранились в доме дальнего родственника отца, дядьки Мусия, который оказывал Тимку всяческое содействие в обучении, но денег займы не давал, - так наказали Тимковы родители, зная забубенный характер сына, - поэтому оставалось уповать лишь на нож, спрятанный под свиткой.

Оружия бурсакам не полагалось, да больно времена настали смутные. Третий год восставшие казаки под руководством гетмана Богдана Хмеля сражаются с польской шляхтой, третий год по Украине шастают татарские чамбулы[13 - Чамбул - отряд турецкой или татарской конницы, численно соответствующий полку.], и спудеям совсем трудно, потому как теперь на «репетиции» нужно тащить с собой не вертепы и ноты, а сабли и мушкеты, иначе можно попасть в ясыры[14 - Ясыр - пленник в виде воинской добычи; ясыры считались рабами, невольниками.], и прощай тогда родная сторона. Отправят татары на невольничий рынок в Кафу, и поминай, как звали. Поэтому бурсаки, если и выходили за стены Киева, то только те, кто постарше, притом целым отрядом, и все с оружием, а дороги выбирали подальше от битого шляха.

Как назло, месяц скрылся за тучей. Темнее и таинственнее стали дремучие леса на холмах, со всех сторон стерегущих Киев; непонятные звуки доносились с болотных топей, заухали филины, проснулись совы, над головами зашелестели крыльями летучие мыши. Шинок с незатейливым названием «У кляштора», куда Ховрах вел компанию бурсаков, стоял над глубоким Гончарным яром, который окружал Замковую гору. На его склонах среди садов и огородов лепились жалкие хатки горшечников и кожевников, покрытые соломой. Весна в этом году пришла ранняя, сады будто облили молоком, и приятный аромат цветущих деревьев перебивал даже зловоние ручейков, сбегавших с возвышенностей в яр.

В шинке веселье било через край. Бурсаки вели себя скромно, одеждой ничем не отличались от тех, кто отдыхал здесь от трудов праведных в столь поздний час, поэтому на них никто не обратил особого внимания. Народ собрался разный - от загулявших горожан, большей частью торговцев средней руки, которых прельщали свободные нравы шинка «У кляштора», до подозрительных личностей, коих немало слонялось по киевским базарам и злачным местам.

В каком-то смысле бурсаки были им конкурентами; их «работа» требовала спокойствия и тишины, а спудеи не только гвалтом, но самим своим появлением заставляли горожан настораживаться и прятать кошельки подальше. Поэтому с мазуриками у бурсаков складывались сложные отношения.

Спудеям подали варенуху – фруктовую настойку на горилке – и добрый шмат копченого мяса. Голодные бурсаки заработали челюстями как волки, и вскоре от свиного окорока остались одни кости.

– Ин вино вэритас, – весело сказал Микита, поглаживая округлившийся живот. – Истина в вине. Древние понимали толк в жизни. Когда ты пьян и сыт, она прекрасна.

– Сильно веселиться нет причины, – угрюмо пробурчал Хома по прозвищу Довбня.

Он был самым старшим в компании – недавно ему исполнилось двадцать два года. Несмотря на это, Хома все никак не мог закончить подготовительный класс, так называемую фару. В бурсе было три отделения – низшее, среднее и высшее. Фара относилась к низшему; там преподавали грамматику, словесность и риторику. В среднем отделении изучали философию и иноземные языки – именно там обретался Тимко, – а до высшего, готовившего богословов, на котором учились два года, добирались редкие спудеи, особо одаренные или очень упрямые.

Хома был беден как церковная мышь. Но его пудовых кулаков боялись все бурсаки. Из девяти лет, которые он провел в стенах бурсы, восемь Хома путешествовал, зарабатывая на хлеб насущный и учебу.

– Вот те нате... – Микита дурашливо поклонился. – День добрый, пан! Проснулся наш великий мыслитель. Хома, у тебя что, варенуха мимо рта текла? Ты сейчас напоминаешь нашего аудитора, который объелся тыквенной каши: в животе урчит, пучит, но нужно держаться изо всех сил, чтобы не пустить злой дух.

– А чему радоваться? В декабре прошлого года польский сейм объявил посполитое рушение. Теперь жди поляков под Киевом.

– Батька Хмель не допустит этого! – горячо сказал бурсак по прозвищу Чабря, однолесток Тимка. – Наши им как дадут!

– Ага, дадут... свои чубы намять, – с иронией ответил Хома. – У польного гетмана[15 - Польный гетман – заместитель великого гетмана, руководителя вооруженных сил Литовского княжества. В мирное время великий гетман обычно пребывал при дворе, занимаясь административными и стратегическими вопросами, а польный гетман находился «в поле», руководил войсками и охраной границ.] Януша Радзивилла в два раза больше войск, чем у Богдана Хмеля. Не говоря уже про армию польского короля Яна-Казимира.

– А еще есть войско Яремы Вишневецкого, знатного вешателя и палача... будь он трижды проклят! – мрачно молвил еще один вечный, как и Хома Довбня, бурсак по прозвищу Хорт.

Он и впрямь был похож на борзую – длинный, худой, быстрый и непредсказуемый. Мог сорваться посреди учебного года и куда-то исчезнуть на пару недель. А по возвращении сорил деньгами направо и налево и напивался до белой горячки, во время которой его посещали кровавые видения.

Поговаривали, будто Хорт стакнулся с разбойниками, но никаких доказательств этому не было, разве что несвойственная ему набожность, которую он всегда проявлял после возвращения из своих внезапных «репетиций». Хорт часами стоял на коленях в церкви и что-то шептал сухими губами, вперив горящий взор в образа. Из-за этой набожности начальство коллегиума закрывало глаза на его частые отлучки и пьянство, тем более что Хорт учился прилежно и быстро наверстывал упущенное.

– Отряд у него небольшой, говорили, тысяч десять наберется, – продолжал Хорт, – зато почти все крылатые гусары на добрых конях. Это еще те псы, хорошо обученные, в панцирях. В прошлом году Ярема гулял с ними по Левобережью. Мое родное село поляки сожгли дотла, тех, кто не успел сбежать, сажали на кол, рубили руки, ноги, головы, выкалывали глаза...

Он вдруг застонал, заскрипел зубами, схватил кружку с варенухой и осушил ее одним глотком.

– Мои родители остались целы, слава богу, – глядя пустыми глазами куда-то в пространство, молвил Хорт немного погодя. – А вот семьи двух братьев шляхта вырезала под корень...

За столом воцарилась тишина; все с сочувствием глядели на вмиг почерневшего Хорта. Наконец молчание нарушил Панько Стовбуренко. Он был на два года старше Тимка и считался записным драчуном. Без его участия не происходила ни одна драка с мещанами. Казалось, Панько был магнитом – притягивал неприятности. Где бы он ни появлялся, вскоре там шли в ход кулаки. Панько был не менее сильным, чем Довбня, но очень юрким и заводным, в отличие от флегматичного Хома.

Стовбуренко принадлежал к тем редким спудеям, у коих не было прозвища. Любая попытка как-нибудь обозвать его тут же оборачивалась доброй трепкой для шутника. Таким же характером отличался и Тимко Гармаш; несмотря на молодость, он был очень силен и не давал спуска никому.

– Война, конечно, напасть, но как бы нам от бескормицы не пропасть, – озабоченно сказал Панько. – Какой смысл идти на летние репетиции, если в селах и городах люди мрут от голода, как мухи? Кому теперь нужны наши песнопения и вертепы? Да и на похоронах много не заработаешь. Это в Киеве еще кое-как жить можно, хлебные запасы остались, а отойди вглубь на сотню верст, и такое увидишь... Неделю назад родители вернули беглого бурсака из карасей-первогодков, он много чего порассказал. Оголодалый люд падает прямо на улицах, и некому их даже похоронить. А еще болезнь какая-то косит всех подряд. Только горилка с перцем и табаком помогает, да где ж ее взять?

– А без репетиций мы точно пропадем, – мрачно молвил Хома. – Лучше пойти в казаки, там хоть кашей накормят.

– Или свинцовым горохом, – язвительно заметил Микита.

– Так это кому как повезет.

– И то верно. Но мне бы не хотелось испытывать судьбу. Хотя... если придется, то куда денешься.

– А что, панове-товарищи, коль зашла речь о припасах, не хотите ли потрясти одного запасливого хомяка? – возбужденно спросил Ховрах. – Все ж нам до каникул как-то надо продержаться.

– Это ты о ком? – заинтересовался Хома.

Его крупный организм плохо переносил голод, поэтому он всегда был в поиске, чем бы поживиться.

– О шляхтиче Тыш-Быковском.

– У-у... – многозначительно загудели бурсаки.

С конца прошлого века польская шляхта начала скупать дома и дворовые места у замковых мещан и киевского магистрата. Постепенно вокруг Рынка и Замковой горы появился аристократический район Подола. Были и такие, кому земля досталась даром. На Подоле насчитывалось около трехсот усадеб польских панов. Правда, многие шляхетские дворы, за исключением тех, чьи хозяева успели перейти на сторону гетмана Богдана Хмельницкого, были разграблены и присвоены магистратскими чиновниками и казацкой старшиной. Но семьи Тыш-Быковских репрессии не коснулись. Он одним из первых понял, откуда дует ветер, и быстренько примкнул к восставшим запорожцам. У хитрого шляхтича на обширном подворье помещались каменный дом с просторной светлицей, тремя спальнями, сенями и кладовой, деревянный садовый домик, предназначенный для гостей, конюшня на пять лошадей, амбар, несколько мелких хозяйственных построек и фруктовый сад. По оценке знающих людей, усадьба Тыш-Быковского стоила не менее двух тысяч злотых. Это большие деньги даже для зажиточных киевлян.

Фруктовый сад Тыш-Быковских был весьма привлекательным объектом для вечно голодных бурсаков. Из года в год они обносили его с таким же прилежанием, как саранча – хлебные поля. Наконец шляхтич завел вооруженную охрану, потому что семье Тыш-Быковского от богатого урожая оставалась лишь падалица да огрызки. С той поры в саду началась настоящая война. Редко какая ночь обходилась без ружейной пальбы, и мало кто из будущих философов и богословов не сидел часами в каком-нибудь озерце, стеная от жжения в филейной части и вымывая оттуда соль, которой угостили его сторожа Тыш-Быковского.

– Ну и что там можно взять? – со скепсисом спросил Микита. – До того, как созреют яблоки, далековато, как от Полтавы до Киева на карачках.

– А кто говорит про яблоки? – На смуглом лице Ховраха появилась дьявольская ухмылка – хищная, коварная. – Может, кто не знает, в прошлом году шляхтич построил в саду коптильню. И над ней курится дымок уже четвертые сутки. Так что окорока как раз спели. Скоро Пасха, и нам будет чем ее отпраздновать.

– Здорово! – возбужденно вскричал Хома. – Ну, брат Ховрах, если это так, с меня штоф оковитой!

– И я в доле! – горячо поддержал Тимко.

– Ну так пошли, чего сидим? – сказал Ховрах.

Опрокидывая лавки, сорвиголовы бросились к выходу – словно на пожар. Мазурики было вскипятились от такой наглости, но, распознав, кто устроил переполох, так и остались сидеть на своих местах; свяжись с бурсаками – греха не оберешься, они за словом в карман не лезут, а если и лезут, так за ножами, с которыми управляются очень ловко.

Сад Тыш-Быковских подозрительно молчал. Обычно там всегда, шумно переговариваясь, прогуливались сторожа, которые сами побаивались бурсаков. Так они отпугивали хотя бы мальцов из фары; что касается риториков и философов, то им сторожа не мешали, скорее, наоборот, – добавляли в кровь жару. Это ли не подвиг: украсть из-под носа охраны торбу груш или яблок, да так, чтобы даже собаки не залаяли? А они были в саду Тыш-Быковских – здоровенные меделянские псы, один вид которых приводил в трепет. Эти злобные зверюги и стоили соответственно; за пса меделянской породы давали породистого скакуна.

Подворье окружал забор высотой чуть меньше двух саженей. Видимо, Ховрах давно надумал оценить качество копченых окороков богатого шляхтича, потому что уверенно проскользнул вдоль ограды в дальний конец, ступая мягко и тихо, словно большой кот, а за ним потянулись и остальные, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

– Где сторожа? – тихо спросил Микита.

– Там же, где и псы, – самодовольно ухмыльнулся Ховрах. – У сторожей нынче поздний ужин, и они сидят в кухонной пристройке, мослы с панского стола догладывают. А что недогрызут, то отдают псам. Так что сад на часок свободен.

– Ух ты! – обрадованно воскликнул Чабря. – Здорово!

– Ц-с-с! – зашипел на него Ховрах. – Молчи! Погубишь все дело!

Перелезть через любой забор для тощего, жилистого бурсака раз плюнуть; опыт по этой части у всех был солидный. Ховрах точным броском закрепил веревку с небольшим крюком – выбираясь в город, он всегда носил ее вместо пояса, – ловко вскарабкался наверх, и спустя минуту-две вся гоп-компания шла к коптильне. Небольшое сооружение пряталось за беседкой, увитой хмелем. Над ним и впрямь поднимался дымок; в ночи он не был виден, но запах копченого мяса шибанул в ноздри почище доброй понюшки табака.

Крепкая дубовая дверь в коптильню была заперта. Наверное, пан Тыш-Быковский не очень доверял своей дворне. Да и времена наступили смутные, голодные, того и гляди, в сад нагрянут не безобидные бурсаки, которые много не брали, а вооруженные мазурики, супротив коих никакие сторожа не устоят. Поэтому требовалось время для того, чтобы позвать городскую стражу, а пудовый замок должен был хоть немного задержать грабителей.

Ховрах лишь хитро ухмыльнулся. Он полез в свои бездонные карманы и достал связку отмычек, завернутых в тряпку, чтобы не звенели на ходу. Похоже, Ховрах не просто так пригласил всех своих товарищей в шинок «У кляштора». Ему нужна была компания для опасного дела.

«Ох, хитер! – не без восхищения подумал Тимко. – Все предусмотрел! Рыжий лис!» Ховрах и впрямь был огненно-рыжим.

Немного поковырявшись в замке, Ховрах эффектным движением снял его и отворил дверь.

– Налетай, голота! – сказал он голосом победителя.

Повторять приглашение не пришлось. В коптильне стояла крошечная темень, но для бурсаков это не помеха – помещение было забито окороками, которые висели на крюках. Схватив по два – больше никак утащить, больно тяжелы, – бурсаки бросились к забору. Вскоре все, кроме Тимка, оказались за пределами сада. Он немного замешкался – за что-то зацепился и упал. Пока поднялся, пока нашел в темноте оброненную добычу, время было упущено – воришек услышали собаки.

Грозный лай меделянов, больше похожий на львиный рык, раздался совсем близко; Тимко кинулся к забору, но понял, что добежать не успеет, – путь преградил пес, наверное, самый шустрый. Тогда Тимко, потеряв голову, швырнул в него окорок – второй он так и не нашел – и побежал к садовому домику, который вплотную примыкал к ограде. По опыту налетов на сад Тыш-Быковского он знал, что там всегда стояла садовая лестница-книжка, забравшись на которую можно спастись от псов и перелезть через забор.

Увы, его ждало горькое разочарование – лестницы на месте не оказалось! Хорошо хоть пес растерялся, не ринулся за ним сразу вдогонку. Перед меделяном встал сложный выбор: или исполнять свой собачий долг, догонять нарушителя охраняемых им границ, или заняться окороком, который так вкусно пах. И все-таки служебное рвение пересилило голод; мудро рассудив, что окорок никуда не денется, пес понесся за Тимком со всей прытью. Впрочем, меделянские псы не отличались беговыми качествами; для этого они были чересчур тяжелы и неповоротливы.

Тимко в отчаянии оглянулся и схватил валявшуюся под ногами палку. Теперь ему придется отмахиваться от псов, пока не подоспеют сторожа. А уж что будет потом, об этом юный спудей старался не думать... И тут его внимание привлекло открытое окно садового домика. Оно светилось, но не очень ярко. Наверное, в комнате горела всего одна свеча. Увидев, что к первому псу присоединились еще двое, – они не лаяли, а лишь угрожающе рычали, неторопливо приближаясь к будущей жертве (а куда она денется?) – Тимко подскочил, уцепился за подоконник и одним махом очутился в небольшой светелке. Он плотно закрыл окно и только после этого огляделся.

В комнате горела свеча-ночник в высоком бронзовом шандале, который стоял на туалетном столике. Светелка была богато убрана: два кресла с цветной обивкой, французские шпалеры на стенах, большое венецианское зеркало в деревянной резной раме, покрытой позолотой, на полу дорогой турецкий ковер, в углу, возле

двери, высокая подставка с кувшином для умывания и медным тазиком...

Но главное сокровище комнаты обнаружилось возле окна, под стенкой. Там, на широкой кровати с балдахином, под розовым атласным одеялом сладким сном почивала прелестная панна. Она не проснулась даже тогда, когда Тимко от неожиданности шарахнулся в сторону и зацепил туалетный столик, на котором вокруг шандала теснился полный набор дамских туалетных принадлежностей: мази и пудра в миниатюрных шкатулках, флаконы с благовониями, щипчики и кисточки в стаканчике из резной слоновой кости и еще много чего, о чем бурсак не имел ни малейшего представления.

Он спрятался за шторой, чутко прислушиваясь, что творится за стенами, и со страхом ожидая, что панна в любой момент может проснуться и поднять крик. К псам, караулившим Тимка возле окна, присоединились и сторожа; они посовещались, недоумевая, с какой это стати меделяны привели их к садовому домику, а потом, видимо, решив, что с псами творится что-то неладное, прикрикнули на них и гурьбой отправились осматривать территорию сада.

Вскоре раздались тревожные крики, а спустя какое-то время сад осветился факелами, и послышался гневный голос Тыш-Быковского. Видимо, дворовые шляхтича обнаружили, что в коптильне побывали незваные гости, и доложили хозяину. Тыш-Быковский долго орал на них, грозясь разными карами, а потом все стихло, и сад погрузился в ночную дрему.

Тимко тихо покинул свое ненадежное убежище и подошел к спальному ложу панны. В мерцающем свете свечи ее свежее румяное личико показалось ему ликом ангела. Юный бурсак затрепетал; в нем вдруг проснулось желание, которое стало посещать его в последнее время, особенно в ночные часы, и о котором он боялся признаться даже самому себе. Не в силах противиться неожиданной страсти, он опустился возле кровати на колени и поцеловал панну в щечку.

Она сонно зашевелилась... и открыла глаза. Тимко будто прирос к полу; он был не в состоянии не то что бежать, но даже сдвинуться с места.

Какое-то время панна смотрела на него без особых эмоций; наверное, ей казалось, что она видит сон. Но вот в ее взгляде появилось что-то новое; но это был не страх, а скорее интерес.

- Ты кто? – спросила она нежным голоском.

- Т-т... Тимко... – еле выговорил бедный спудей.

- А как здесь оказался?

- Влез через окно...

- Зачем?

- Не знаю...

- Как романтично! – воскликнула панна. – Я нравлюсь тебе?

- Очень!

- Ах, все так куртуазно! Точно как в том рыцарском романе, который недавно мне читала моя бонна! Ты будешь моим рыцарем! Согласен?

- Да!

Тимко постепенно начал приходить в себя. Очарование милой панны конечно же никуда не делось, но внутренний голос уже не шептал, а кричал: «Беги отсюда, дурачина! Если тебя поймают в спальне панны, то живым точно не выпустят!»

- Ясная панна, – сказал Тимко. – Мне пора.

- Ты поцеловал меня, – вдруг сказала она непререкаемым тоном.

- Прости... не сдержался. Ты такая красивая...

- Правда?

- Как Бог свят!

Тимко встал с колен, подошел к окну и осторожно выглянул в сад. На чистое небо выкатился золотой месяц, и в саду стало светло. Бурсак облегченно вздохнул – вроде все тихо, кругом никого. Он обернулся к девушке и сказал:

– Прощай, ясная панна. Я ухожу.

– Постой! Подойди ко мне.

Тимко послушно подошел к кровати.

– Поцелуй меня... еще раз, – тихо молвила панна. – Пожалуйста...

Спудей нагнулся и снова хотел коснуться губами ее румяной щечки, но панна вдруг обхватила его руками, и страстный поцелуй в губы ошеломил Тимка. Ему показалось, что он длится целую вечность. Но вот панна оттолкнула его и неожиданно сердитым голосом сказала:

– Уходи! Прочь!

Недоумевающий Тимко (что это с ней случилось? – думал он; чем я обидел ее?) распахнул окно, сел на подоконник и приготовился спрыгнуть в сад, и тут раздался нежный голосок панны:

– Меня зовут Ядвига... Ядзя...

Тимко промолчал; а что тут скажешь? Оказавшись на земле, он воровато оглянулся по сторонам и пошел напрямик к старой яблоне, толстая ветка которой тянулась до самого забора. Она и послужила ему мостиком. Благополучно выбравшись из сада, Тимко со всей юной прытью помчался по узкой улочке, благо месяц высвечивал все неровности и колдобины. Он бежал, не чуя под собой ног. Ему казалось, что еще немного, и он взлетит в небеса. Какое-то новое, неведомое доселе чувство переполняло его душу, и Тимко не понимал, что с ним творится.

«Ядвига... Ядзя...» – повторял он имя панны, и от этого у него словно вырастали крылья.

Глава 3. Двор чудес

К людям, жившим подаянием и занимавшимся бродяжничеством, в разных странах и в разные эпохи относились по-разному. Если в античные времена нищих почти не было, а бродяги быстро попадали в рабство, то в Средние века европейское нищенство расцвело пышным цветом, и бродяги приобрели такой статус, что у них едва не выпрашивали благословения. Расцвет попрошайничества был неразрывно связан с господствовавшим в ту эпоху церковным учением. Иоанн Златоуст поучал, что бедным нужно подавать милостыню вне зависимости от того, заслуживают они ее или нет: «Ты не должен разузнавать бедных, что они за люди. Одна защита у бедного – недостаток и нужда. Не требуй от него ничего более, и пусть он самый порочный человек, утоли голод его».

Любовь к нищим сделалась обязательной для каждого христианина, а раздача милостыни воспринималась как верный путь к спасению души. Поскольку спасения души жаждали все христиане, нищие оказались востребованы обществом, ведь, не будь их, совершать добрые дела было бы значительно труднее. Спрос породил предложение, и Францию наводнила армия профессиональных нищих, которые переходили из города в город и требовали подаяния, ссылаясь на истинные и мнимые хвори.

В том, что многие калеки и убогие на самом деле хитрые обманщики, мало кто сомневался. В Париже даже ходили легенды о том, как нищие разбегались при приближении святых чудотворцев, лишь бы те не исцелили их и не лишили тем самым заработка. Тем не менее подавали им исправно, и часто это были немалые денежки.

Дворами чудес в Париже назывались несколько кварталов, заселенных разным отребьем. Немало было и воров, прикрывавшихся «святостью» нищих. Прося подаяния, попрошайки изображали больных и калек, а ночью, когда они возвращались в свой квартал, увечья чудесным образом исчезали вместе с гримом; это и дало название их приютам. Дворы чудес пополнялись в основном за счет бедноты, приезжавшей из провинции в поисках заработка. Они считались опасными местами; посторонним, забредшим в эти кварталы, грозила смерть. Даже городская стража не решалась туда заглядывать.

Юные дворяне, которых вела ко Двору чудес шайка безобразных оборванцев, храбрились, но душа у них уходила в пятки. Даже не по годам дерзкий Мишель де Граммон чувствовал себя неуютно. Его так и подмывало дать деру, тем более что вырваться на улице из окружения отверженных ему и его друзьям не составило бы особого труда. Но Мишель прекрасно понимал, что после этого им не будет в Париже житья, ведь они дали слово. А это значило, что в один прекрасный день его или, к примеру, здоровяка Готье найдут в выгребной канаве с ножевой раной в груди или проломленной головой. Парижские улицы жили по своим законам, несколько отличающимся от королевских, и за их исполнением следили гораздо тщательней.

Чтобы добраться до резиденции Великого Кэзра, короля нищих и воров, им пришлось углубиться сначала в грязную извилистую улочку, о существовании которой не подозревал даже Мишель де Граммон, который, как ему казалось, знал Париж как свои пять пальцев, а затем они спустились по неровному длинному скату к ветхому дому, наполовину ушедшему в землю и источавшему смрад. У входа – у юных дворян глаза полезли на лоб – стояла стража, настоящие мушкетеры: с мушкетами, при шпагах, вот только наряд у них был чересчур пестрый, шутовской и рваный. Но оружие настоящее и готовое к применению.

Еще больше Мишель де Граммон удивился, когда стража взяла мушкеты наизготовку, а Тибулен, предводитель шайки, сначала особым образом скрестил пальцы на правой руке, а потом плюнул на одежду «мушкетера». Прежде суровый и неприступный, страж расплылся в улыбке, и вся компания очутилась во дворе, куда вели не ворота, а маленькая неприметная дверка.

– Что это он плюется? – тихо спросил Мишель у Готье, который хорошо разбирался в нравах насельников Двора чудес; когда-то у семьи его приятеля был в услужении старый солдат, который какое-то время провел среди обитателей парижского дна.

– По скрещенным пальцам здесь узнают своих, а плевков – это приветствие, – также шепотом ответил Готье.

– Да уж, и впрямь чудеса... – Мишель покачал головой.

Тот же Готье рассказал ему, что у обитателей Двора чудес есть особый язык, непонятный обычным людям. О прошлом здесь расспрашивать не принято, будущее слишком туманно, поэтому попрошайки, воры и мошенники живут одним днем. Собрания жильцов Двора чудес происходят по ночам – или в обителище Великого Кэзра, или на кладбище Невинных. Туда же приносят и подати, по таксе в соответствии с кастой и профессией. Нищие других провинций платят кагу, а они отсылают деньги в Париж. От налогов свободны только архисюпо – авторитетные воры и грабители, побывавшие в тюрьме или на каторге.

Подруга главаря шайки обязана быть ему верна, иначе он имеет право ее убить. Обман и предательство не прощаются никогда и караются смертью. У Двора чудес была и своя иерархия: во главе его стоял Великий Кэзр, за ним кагу и его помощники, потом убийцы, грабители и разбойники, паломники и колдуны, воры, мошенники и попрошайки – в основном калеки, женщины и дети.

Женщина во Дворе чудес принадлежала тому, кто ее взял. Иногда приходилось завоевывать себе подругу в поединке с соперником. Жен у Великого Кэзра было несколько; их стерегли евнухи. Детей, рожденных во Дворе чудес, убивали или продавали «ракушечнику» – торговцу детьми. Он перепродавал их знатым извращенцам, людям, которым требовалось заменить бастарда на якобы наследника, и колдунам-шарлатанам для жертвоприношений – черных месс. Если ребенок родился везунчиком, он вырастал при Дворе чудес и вступал на ту же дорогу, что и другие отверженные: девочки занимались проституцией, мальчики были ворами, грабителями или попрошайками. А убийцами так или иначе здесь становились почти все...

Задумавшись над тем, что рассказывал ему Готье, Мишель невольно вздрогнул, когда перед ними появился человек-гора. Это был страшный урод; его ручки свисали ниже колен, физиономия казалась сплошным бесформенным месивом, выделялись лишь два крохотных глаза. Они были красными, словно у животного, и смотрели на юных дворян с такой злобой, что Мишель попятился.

– Не дрейфь, – раздался тихий голос Готье. – Это телохранитель Великого Кэзра. Его прозвали Гоблином. Без приказа своего хозяина он и пальцем нас не тронет.

«Спасибо, утешил... – подумал Мишель. – А если Великий Кэзр прикажет Гоблину разорвать нас на куски?»

Тибулен куда-то исчез, оставив юных дворян томиться под присмотром «мушкетеров» среди ужасного зловония, которое исходило непонятно откуда, потому что двор на удивление был чисто выметен, и лишь кое-где по углам валялись обглоданные кости. «Наверное, Великий Кэзр готовился к какому-то торжеству», – подумал Мишель.

Ждать пришлось долго. По двору иногда проходили подозрительные личности, один вид которых мог привести законопослушных горожан в трепет; они ненадолго скрывались в чреве ветхого дома, а затем торопливо покидали Двор чудес. Похоже, это были воры и грабители; время их работы начиналось в сумерки, и сейчас они спешили предстать перед Великим Кэзром и выплатить причитающуюся ему долю, чтобы потом засесть в какой-нибудь таверне и прокутить наворованное. Мишель ощущал на себе их взгляды, и ему казалось, что они проникают даже сквозь одежду.

Но вот сонная атмосфера Двора чудес вдруг преобразилась; появились несколько карликов-шутов, две женщины вынесли богато отделанное кресло с изрядно засаленной обивкой, и наконец вышел сам Великий Кэзр в окружении своих «придворных».

Мишель де Граммон при виде короля нищих и воров едва не захохотал. Великий Кэзр был маленького роста, чуть повыше карлы, лицо его не блистало красотой, но высокий лоб и умные глаза, темные, как безлунная ночь, говорили о том, что свой пост он занял по праву и если кто на него покусится, то трижды об этом пожалеет. Одет он был с подобающей пышностью, но его наряд, хоть и сшитый из дорогих тканей, больше напоминал маскарадный костюм. Подтверждением этому служила шутовская корона на голове – серебряный обруч с рожками из набитого ватой бархата разных цветов. На концах рожек висели крохотные бубенчики, мелодично звеневшие при каждом шаге.

Король нищих и воров уселся на свой трон и уставился на юных дворян. Его лицо было непроницаемым. Наконец, удовлетворившись осмотром, он кивнул – наверное, соглашаясь с собственными умозаключениями, – и спросил:

– Кто убил Антуана?

– Я... – Мишель выступил вперед.

– Ты?! – удивился Великий Кэзр. – Такой малец, а завалил одного из лучших наших бойцов. Однако...

– Ваше величество, мне не оставили иного выбора, – учтиво ответил Мишель. – Я всего лишь защищался.

На лице короля нищих и воров не дрогнул ни единый мускул, когда юный дворянин обратился к нему как к сиятельной персоне, но глаза его потеплели.

– Судя по тому, что мне рассказали, так оно и есть, – благожелательно молвил Великий Кэзр. – Но у нас свои законы, мсье. Вы должны ответить за убийство нашего доброго товарища...

Юные дворяне встрепенулись и схватились за шпаги. Мишель мигом прикинул, что, несмотря на присутствие Гоблина, успеет проткнуть своим клинком короля, а там будь что будет. Его приятели тоже приготовились дорого отдать свои жизни. Уж чего-чего, а храбрости им было не занимать.

– Нам обещали суд, а не судилище! – резко сказал Мишель.

Кэзр, от которого не ускользнула их решимость сражаться хоть с самим дьяволом, ухмыльнулся.

– Суд состоится, в этом мое слово, – сказал он и посуровел. – Только судьей будет наш Создатель. Вам предстоит Божий суд.

– Надеюсь, вы не будете заливать мне в глотку расплавленный свинец, чтобы узнать волю Божью? – дерзко спросил Мишель.

Ему начал надоедать фарс, который разыгрывал король.

– Ни в коем случае! Вам, мсье, предстоит поединок на шпагах, – при этих словах лицо Великого Кэзра превратилось в маску коварства; похоже, он не хотел скрывать своих чувств и откровенно потешался над молодым петушком голубых кровей.

– Но у меня есть одно условие, – твердо сказал Мишель; он подозревал, что противник ему достанется непростой, а значит, исход схватки может сложиться и не в его пользу.

Придворные короля нищих и воров загудели, возмущенные наглостью юнца.

– Тихо! – прикрикнул на них Кэзр. – Что за условие?

– Как бы ни закончился поединок, вы отпустите меня и моих друзей на все четыре стороны.

– Слово! – твердо сказал Великий Кэзр, подняв два пальца.

Ему наверняка хотелось отправить в Эреб всех юнцов, но он понимал, что смерть молодых дворян выйдет ему боком. Ведь в заведении Папаши Тухлятины слишком много глаз, и кто может поручиться, что среди посетителей таверны не было полицейского шпика. Поэтому король решил, что обычный поединок, который, несомненно, закончится смертью одного из мальчишек, ничем ему не грозит, а развлечение может получиться знатным.

– А вот и наш боец, – сказал Кэзр с неприятным смешком.

Придворные Великого Кэзра расступились, и к Мишелю де Граммону подошел высокий худощавый господин с пронзительным взглядом серых, как сталь, очей, с виду дворянин и бывший военный. По некоторым ухваткам изрядно поднаторевший в дуэлях Мишель определил, что он – бретёр, коих немало слонялось по Парижу в поисках заработка. Таких свободных бойцов часто нанимали для заказных убийств под видом честной дуэли; похоже, именно с подобным типом ему предстояло драться. Щеку господина пересекал шрам – тонкая светлая полоска, выделяющаяся на смуглом лице, – а на левой руке не хватало мизинца.

– Пьер де Сарсель, мсье, к вашим услугам, – сказал он и отсалютовал Мишелю шпагой.

Молодой человек несколько смутился – это была длинная и тяжелая шпага записных дуэлянтов, против которой трудно выстроить защиту.

– Мишель де Граммон! – ответил он и тоже довольно лихо выполнил все необходимые движения приветствия: согнул правую руку так, что эфес шпаги оказался под подбородком, а острие – вверху, затем резко опустил клинок к земле, приняв подготовительную стойку, при этом изобразив легкий поклон, и наконец выпрямился, всем своим видом давая понять, что к дуэли готов.

– Де Граммон? Уж не сын ли вы лейтенанта гвардии Николая де Граммона?

– Именно так, мсье.

– Ваш батюшка, кажется, ушел в мир иной...

– Совершенно верно.

Де Сарсель резко повернулся, подошел к Великому Кэзру и сказал:

– Я не буду драться с этим юношей.

– Почему?!

– Я встречался с его отцом на войне. Он спас мне жизнь. Если я на дуэли убью его сына, это будет неправильно. Господь мне этого не простит.

– Что же, в этом есть резон, мсье...

Кэзр ненадолго задумался, а потом махнул рукой и молвил:

– Так тому и быть! Вы благородны, де Сарсель, и это делает вам честь. Но поединок все равно состоится – я так решил. Буатель!

– Слушаю, ваше величество!

Перед Кэзром встал нескладный малый с рябой физиономией. Он был весь какой-то дерганый, как паяц, а его щербатая улыбка начиналась у одного уха и заканчивалась у другого. Он чем-то напоминал лягушку; у него даже глаза были выпученные. Тем не менее на поясе Буателя висела шпага – правда, самая

обычная, и у Мишеля немного отлегло от сердца; и по нему было видно, что человек он бывалый, тертый и знает толк в оружии.

– Бедный Антуан был твоим другом, – сказал король нищих и воров. – Тебе предоставляется возможность отдать должное его памяти.

– Премного благодарен! – воскликнул Буатель. – Это честь для меня.

Он обернулся к Мишелю де Граммону, выхватил шпагу из ножен и злобно процедил сквозь зубы:

– Ну, держись, петушок. Сейчас я подстригу твои перышки...

Мишель презрительно отмолчался. Еще чего – дворянину вступать в пререкания с простолюдином, тем более вором и мошенником. По кодексу чести он вообще не должен драться с Буателем, но тогда его просто зарежут, как барана, а этого гордый отпрыск старинного дворянского рода допустить не мог.

Им освободили место для дуэли – пока шли разговоры, народу во дворе прибавилось. Появились женщины – две старые мегеры и несколько вполне приятных особ – и дети, а также десятка два калек. Они только начали гримироваться для выхода «в свет», поэтому представляли собой забавное и одновременно отталкивающее зрелище. Изображавший ветерана Тридцатилетней войны в изрядно потрепанном мундире какого-то королевского полка прыгал на одной ноге, а вторая была притянута тряпичными лентами к бедру сзади, но еще не замаскирована широкой штаниной; двое страдальцев держали в руках тонкие срезы гниющего мяса, которые должны были изображать язвы на теле, еще один умелец уже приклеил к рукам и ногам стигматы – рыбы пузыри, наполненные бычьей кровью, и ему оставалось лишь нанести поверх них толстый слой грима под цвет кожи...

Но Мишелю было не до созерцания мошенников, обитавших в главном Дворе чудес Парижа. Ему предстояло драться за свою жизнь. Мишель не сомневался, что Великий Кэзр жаждет лишь одного – смерти того, кто убил кагу Антуана. Поэтому, если он будет ранен, даже легко, его просто добьют.

– Атакуй с нижней позиции... – вдруг донесся до Мишеля чей-то тихий голос.

Юноша скосил глаза и понял, что это сказал де Сарсель – хотя тот и смотрел в другую сторону, – который будто случайно оказался рядом с ним. Мишель не подал виду, что услышал, тем более Буатель уже следил за ним своими жабыми глазищами.

Едва они скрестили шпаги, Мишель понял, что Буатель отменно владеет оружием. Он атаковал быстро и точно, и юноше приходилось надеяться только на крепость своих ног и скорость реакции – главный козырь юности. Мишель сразу понял, почему де Сарсель дал ему такую подсказку: у Буателя были какие-то нелады со спиной, и ему не хватало гибкости, чтобы отражать выпады. Юноша лишь сделал несколько намеков на атаку снизу – вроде случайно, и Буателю пришлось изрядно потрудиться, чтобы уйти от опасности.

Мишель выжидал. Он хотел усыпить бдительность Буателя и больше защищался, нежели атаковал, что, в общем, выглядело со стороны вполне закономерно: плохого бойца Великий Кэзр не решился бы выставить против юного дворянина.

Буатель предпочитал высокую – испанскую – стойку. Он наносил удар в голову и сразу же за этим пытался уколоть Мишеля в глаза или в шею. Он стоял ровно, выпады делал очень короткие; выходя на дистанцию, Буатель сгибал правое колено, выпрямлял левое и переносил корпус вперед. Отступая, он сгибал левое колено и выпрямлял правое. Такой маятник Мишель читал легко и успевал вовремя защититься.

Сам он решил работать в низкой итальянской стойке – оба колена согнуты, запястье и острие клинка опущены; левую руку Мишель держал у груди, чтобы парировать ею выпад Буателя и сразу же нанести ответный укол. Кроме того, он часто менял стойку, чтобы озадачить противника: время от времени поднимал запястье и острие клинка на уровень плеча или держал запястье высоко, а острие клинка опускал пониже, атаковал Буателя то справа, то слева... Обычно дуэлянты, работающие в итальянской стойке, редко прибегают к удлинённому выпаду с низкой позиции, ограничиваясь короткими атаками на разных линиях, и Мишель делал все, чтобы его противник уверился в этом.

Зрителям поединок нравился; они подбадривали Буателя криками, свистели, топали по плитам, которыми был вымощен двор. Даже Великий Кэзр не остался равнодушным наблюдателем; он подпрыгивал на своем троне, как туго набитый тряпичный мяч, и, когда следовал эффектный выпад, хлопал в ладоши

и смеялся, как ребенок. Лишь один Пьер де Сарсель был суров и мрачен; он с напряженным вниманием следил за боем, лицо его превратилось в неподвижную маску, лишь глаза из серых стали почти голубыми и сияли на загорелом лице, будто два сапфира чистой воды.

Но вот наступил долгожданный момент – Буатель нанес противнику укол в голову и на какой-то миг потерял равновесие. Мишель словно взорвался; он низко пригнулся и стремительно бросился вперед, распластавшись над землей, как большая птица. Его соперник даже не успел понять, почему в груди внезапно возникла острая боль, а земля вдруг завертелась и приблизилась так, что он стал различать мелкие соломинки на плитах. Но это продолжалось недолго; чернота залила все вокруг, и Буатель отправился в Эреб, где его давно и с нетерпением поджидал старина Харон, чтобы перевезти в своей лодке напрямиком в ад.

Во Дворе чудес воцарилась мертвая тишина. Даже назойливые мухи, казалось, перестали жужжать. Великий Кэзр окаменел на своем троне и тупо пялился на неподвижное тело Буателя, возле которого появилась красная лужица, увеличивающаяся в размерах. Молчали и друзья Мишеля – они уже мысленно простились с ним. И не только с ним, но и со своей жизнью – они не очень верили слову короля нищих и воров.

Что касается Пьера де Сарселя, то на его лице трудно было что-то прочесть. Но короткий, выразительный взгляд, который он бросил на Мишеля де Граммона, говорил о многом. В нем были и восхищение, и уважение бывалого дуэлянта к молодому человеку, столь мастерски орудующему клинком, и почти отеческая доброта.

Наконец Великий Кэзр шевельнулся и невыразительным голосом сказал, обращаясь к Мишелю:

– Все... Божий суд свершился. Он определил, что ты не виноват. Идите с миром. Я держу свое слово. Но если еще когда-нибудь случится нечто подобное... – тут голос короля нищих и воров зазвенел, как сталь, – тогда берегитесь! Мы не склонны забывать и прощать обиды, кто бы нам их ни причинил!

Он соскочил с кресла и почти бегом устремился во внутренние покои своего «дворца». За ним потянулась и свита. Спустя пару минут двор опустел.

К Мишелю подошел де Сарсель и спросил:

- Вы по-прежнему живете на улице Могильщиков?

- Да, мсье...

Врать было бессмысленно, тем более что Мишель вдруг почувствовал доверие к этому странному человеку.

- Всего вам доброго...

Пьер де Сарсель слегка кивнул и последовал за хозяином Двора чудес.

Юные дворяне переглянулись и быстрым шагом направились к калитке, где их уже ждали «мушкетеры». Судя по выражению лиц, они не держали зла на Мишеля. Наверное, и кагу Антуан, и Буатель были не шибко приятными личностями и не пользовались большой популярностью, их смерть – всего лишь малозначительный эпизод в жизни Двора чудес, ни в коей мере не затрагивающий судьбы ряженных стражей. День прошел – и ладно. Каждому свое: кому лежать в земле, а кому кутить в таверне на последние медяки...

- Фух! – громко выдохнул Готье, когда они оказались далеко от кладбища Невинных и Двора чудес. – Я думал, нам конец... Сегодня же схожу в церковь Сен-Сюльпис и поставлю во здравие самую толстую свечу!

- Это нам Господь послал наказание за наши грехи, – мрачно заявил Морис. – Не надо было воровать кружку для пожертвований.

- Эй, а у нас ведь осталось еще немного денег! – воскликнул Жюль. – Готье, в церковь сходить ты всегда успеешь. А ты, Морис, выбрось дурные мысли из головы. Два раза за одно и то же не наказывают, а поскольку свой грех мы уже искупили, теперь можем использовать деньги по назначению без зазрения совести. Есть предложение посетить таверну. А то у меня во рту пустыня, да и желудок к хребту прилип от переживаний.

- Согласен! – сказал Готье. – Только не в «Шлем сарацина»! Теперь я к Папаше Тухлятине ни ногой.

– Тогда держим путь в «Трюмильер»! Гип-гип-ура! – Жюль подбросил шляпу.

– А ты что молчишь, Мишу? – спросил Морис.

Все выжидающе уставились на Мишеля де Граммона; все-таки он был главным заводилой компании и его слово многое значило.

Мишель устало махнул рукой и буркнул:

– Я не возражаю.

Он был выжат как лимон. Ему и впрямь было все равно, куда идти и что делать, лишь бы подальше от Двора чудес...

Когда изрядно стемнело, парижскую улицу, которая именовалась Медвежьей, огласил веселый хохот, а затем и задорная песенка, которую распевали наши хмельные герои, возвращаясь домой. В песне рассказывалось про чиновника, готового получить мзду даже старым рваньем, и о беспредельной жадности хозяина таверны, способного взять в залог штаны пьяницы.

...Затем дарю я мсье Роберу,

Писцу Парижского суда,

Глупцу, ретивому не в меру,

Мои штаны, невесть когда

Заложенные, – не беда!

Пусть выкупит из «Трюмильер»

И перешьет их, коль нужда,

Своей Жанетте де Мильер![16 - Стихи Франсуа Вийона, поэта французского средневековья.]

Медвежья улица лежала неподалеку от улицы Сен-Мартен и славилась своими тавернами. В древние времена здесь было много харчевен и лавок, торговавших жареным мясом и птицей; называлась тогда улица Гусиной. Со временем гуси,

видимо, выросли до размеров медведей – всего-то и понадобилось одну букву в слове исправить, – а вместо мясных лавок на Медвежьей улице появилось несколько приличных таверен.

Мишель де Граммон пел вместе с остальными, но у него из головы не выходил таинственный Пьер де Сарсель, который когда-то воевал вместе с его отцом. Юноша чувствовал, что встреча с ним во Дворе чудес – не последняя.

Глава 4. Амурные приключения

Молодому человеку присуща влюбленность, даже если он бурсак. Но низменность полуголодного существования спудеев мало располагала к амурам. И то – какая девица согласится прогуляться по улицам Киева с оборванцем, будь он даже писанным красавцем? В этом отношении в бурсе был лишь один привилегированный класс – богословы. Любой спудей высшего отделения мог в один прекрасный день стать женихом. Это слово бурсаки произносили мечтательно, с пиететом, потому что оно было желанным ключом к свободе.

От двенадцатилетнего мальчика из фары до спудея, которому давно минуло двадцать, от последнего лентяя до первого ученика, все думали лишь одну радостную думу, что однажды и ему привалит счастье, и он покинет ободранные стены бурсы, что больше никогда в его жизни не будет опостылевшей зубрежки, розог аудитора и «воздусей», а вместо привычной «черняшки» – зачерствевшего куска ржаного хлеба – на столе будет миска с карасями в сметане и штоф горилки.

Когда священник уходил в мир иной, у него оставалось семейство – жена, дети. Церковный дом, земля, сад, луг и прочее хозяйство должно было перейти к преемнику, но куда деваться семье? Хоть по свету с сумой иди! Оставалось последнее средство, чтобы закрепить имущество и приход, – выдать замуж какую-нибудь из дочерей священника. Это делалось быстро, потому что хлебные места были наперечет, а среди святых отцов находились еще те ловкачи. Подсунут нужную бумагу епархиальному начальству, дадут мзду, и уплыл приход в чужие руки.

Бывало и так, что невеста, проживая за сотню или более верст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город на встречу с женихом, а претендент на место ее батюшки не имел средств и времени съездить к суженой. Тогда обе стороны списывались, давалось заочное согласие, и, получив указ о поступлении на место, жених ехал к невесте, томясь в неведении: того ли кота он вытащил из мешка? Нередко дело доходило до скандала – невеста попадалась старая, рябая, сварливая, и жених еще до свадьбы порывался поколотить будущую попадью, да так, чтобы дух из нее вон.

Но иногда случалось, что невесту не брал в жены даже самый распоследний жених. Тогда ее привозили в бурсу, и умелые свахи спускали залежалый и бракованный товар с удивительной ловкостью: щеки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, и лицо, побитое оспой, выходило гладким, старое виделось молодым, а утянутая корсетом фигура ничем не напоминала расплывшуюся квашню.

Откалывали номера и похлеще, когда до самого венца роль невесты брала на себя ее родственница, молодая и недурная собою девица, иногда даже замужняя женщина, и только в церкви по левую руку бурсак видел свою суженую, на физиономии которой черти горох молотили. Но что оставалось делать? Спудей, наголодавшись в бурсе вдоволь, стиснув зубы и скрепя сердце, давал согласие на брак – будущая свобода перевешивала все неприятные моменты.

Но одно дело – брак по расчету, а другое – первая любовь, которая сразила Тимка Гармаша наповал. Он днем и ночью грезил о прекрасной панне. Его не беспокоили ни клопы, ни вша, копошившаяся в сеннике, мало волновала и скудная еда; он летал на крыльях мечты где-то очень высоко, под облаками, и миазмы бурсацких дортуаров казались ему запахами роз. Едва он закрывал глаза, как перед его внутренним взором появлялось лицо Ядвиги; нет, не лицо, а прекрасный ангельский лик! И только ближе к утру на ясное небо наползала черная туча, и горькие мысли начинали одолевать бедного спудея.

Кто он супротив шляхтича Тыш-Быковского? Конечно, семейство Тимка принадлежало к древнему казачьему роду, из которого вышло немало старшин, но оно не было столь богатым и знатным, как семья Ядвиги. Нужно выбросить эти глупости из головы, – твердил себе Тимко, терпеливо перенося очередную порцию «березовой каши». Будучи мыслями очень далеко, он даже не морщился, когда помощник аудитора сек его розгами, чем только подзадоривал своего

палача. Но теперь о бегстве из бурсы Тимко даже не помышлял. Ему снова хотелось увидеть прекрасную панну. Только как это сделать?

После набега бурсаков на коптильню Тыш-Быковский усилил охрану сада и дал указание стрелять не солью, а мелкой дробью. Времена наступили смутные, поэтому такое распоряжение никого не удивило – в Подолии уже начались военные действия. Митрополит киевский Сильвестр Коссов, происходивший из шляхетского сословия, был против войны, но митрополит коринфский Иоасаф, приехавший из Греции, побуждал Богдана Хмельницкого к сражениям и перепоясал его мечом, освященным на гробе Господнем в Иерусалиме. Прислал грамоту и константинопольский патриарх, одобрявший поход против врагов православия.

Но Тимка мало волновала политика; все его мысли занимала прекрасная панна. Он придумал, как ему казалось, блестящий ход. У дядьки Мусия, дальнего родственника Гармашей, который жил в Киеве, был сын Устим, немногим старше Тимка. Он пошел по стопам отца, занимался торговлей, но его отношения с Тимком были прохладными – как и большинство киевских мещан, бурсаков Устим терпеть не мог. Спустя неделю после памятного набега на коптильню Тимко вызвал Устима во двор и попросил:

– Одолжи мне на пасхальный праздник свою одежду.

– Ты долго думал? – скептически спросил Устим. – Иди с Богом, я бурсакам не подаю.

– Устим, мне край надо!

– Всем надо.

– Дай мне старую! У тебя ведь есть обновка.

– Нет! Купи себе одежду и носи на здоровье.

– Батяка денег не дает.

– Ну а я тут при чем?

– Так я ведь не задаром прошу... – с этими словами Тимко полез в тощий кошелек и вынул серебряный польский грош, который занял у Ховраха.

Уж он-то хорошо знал скаредную натуру своего родственника...

– Вот, – сказал спудей. – Это плата. Думаю, вполне достаточно.

Глаза Устима жадно блеснули, он потянулся за грошем, но торгашеский дух пересилил первый порыв.

– Всего-то? – усмехнулся Устим. – Маловато. Еще одну такую же монету – и получишь одежду.

– У меня больше нету денег.

– Ну, как знаешь...

– А не пошел бы ты!.. – озлился Тимко. – Не хочешь заработать – бывай! Найду в другом месте.

Он развернулся с намерением уйти, но Устим придержал его за рукав.

– Погодь! Давай свой грош. Запомни, одалживаю одежду лишь по доброте душевной, как родственнику...

Тут он выдержал необходимую паузу, чтобы Тимко свыкся с мыслью, что получил желаемое, и добавил:

– Но еще один грош ты все равно мне будешь должен! Потом отдашь. Уговор?

– Черт с тобой! Уговор!

Переоделся Тимко в амбаре. Длинный польский кунтуш из темно-бордового сукна, обшитый галуном, с рядом бронзовых пуговиц, белая вышитая рубаха и синие шаровары сидели так ладно, будто на него скроены. Хоть и далеко не новая, одежда смотрелась вполне прилично. А когда Тимко прицепил к поясу

карабелу, Устим, который уже начал полнеть, лишь кисло скривился: теперь спудей выглядел как запорожский казак – узкая талия, широкие плечи, острый беспощадный взгляд...

Шляхта облюбовала бывшую католическую церковь на Подоле; казаки не сожгли ее только потому, что она была каменной и вместо католического шатра имела главку, похожую на православный купол. Редко кто из православных мещан других национальностей вступал под ее своды, и польские шляхтичи наслаждались покоем и умиротворенностью священного здания среди своих.

В ночь Великой Субботы вокруг бывшего костела разожгли костры по православному обычаю, и небольшая площадь перед ним постепенно заполнялась празднично разодетыми панями и паненками. Все ждали крестного хода. Тимко ужом вился в толпе, выискивая семейство Тыш-Быковских, но все никак не находил. Он готов был локти кусать от досады: неужели все его старания напрасны и он так и не увидит Ядвигу?!

Но вот наконец раздался первый благовест большого колокола, толпа всколыхнулась, в руках шляхтичей загорелись свечи, и показалось духовенство в светлых ризах с крестами и иконами. Церковный хор запел: «Воскресенье твое, Христе Спасе-е, ангелы поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити-и...» Тимко с запоздалым сожалением вспомнил, что про свечу-то он и забыл, но делать нечего, и спудей вместе с пышно разодетыми панями пошел вокруг церкви. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот дарова-ав...» – славил церковный хор светлое Христово Воскресенье, но мысли Тимка были далеки и от крестного хода, и от благочестия.

«Ядвига, Ядзя, где ты?!» – возопил он мысленно, погружаясь в пучину уныния и безнадежности.

Наверное, сам Господь откликнулся на душевный призыв бедного бурсака. Или ему надоели стенания спудея в тот момент, когда нужно возносить молитвы. Как бы там ни было, но толпа, как показалось Тимку, вдруг распахнулась, и возникла Ядвига во всей своей юной красе.

Вообще-то она не была писаной красавицей, но в глазах влюбленного спудея белокурая паненка выглядела прекрасным светлым ангелом, сошедшим с небес именно тогда, когда он совсем отчаялся. «Чтобы понять красоту Лейлы, нужно посмотреть на нее глазами Меджнуна», – сказал однажды великий персидский поэт Саади. И он был тысячу раз прав! Таинство сердечной привязанности почти такое же древнее, как сам мир, и такое же непостижимое, как его сотворение.

Тимко мигом перестроился и оказался рядом с семейством Тыш-Быковских. Но Ядвига не обращала внимания на окружающих; она смотрела прямо перед собой, и ее свежие розовые уста что-то шептали. Наверное, она молилась, но Тимку очень хотелось, чтобы в своих молитвах она вспомнила и о нем.

Но вот наступил долгожданный для Тимка момент – участники крестного хода начали обнимать друг друга и целовать тоекратно, а затем говорили: «Христос воскрес!», чтобы услышать в ответ: «Воистину воскрес!», и при этом обменивались пасхальными яйцами.

Тимко тоже припас пасхальное яйцо. С ним вышла целая история. Понятно, что оно было ворованное; правда, украл его не сам Тимко, а Хорт, причем не одно, а целую корзину. Как он это сделал, у кого стянул, бурсаки допытываться не стали. Но после этого «подвига» Хорта подготовка к Пасхе пошла в бурсе полным ходом. Каждый расписывал свое пасхальное яйцо, как умел, но был в бурсе один богослов из высшего отделения, который готовился после окончания коллегіума стать богомазом-иконописцем. У него и впрямь имелся незаурядный талант. Поэтому перед Пасхой к нему выстраивалась целая очередь авторитетных бурсаков – будущий богомаз делал из яйца настоящее произведение искусства.

Тимко налетел на него, как коршун на цыплячий выводок. Он бесцеремонно отодвинул самых сильных спудеев в сторону, а когда те начали возмущаться и брать его за грудки, магическое слово «жених» вмиг настроило их на благодушный лад; женитьба для любого бурсака – святое.

Заказ Тимка был несколько необычным. Он хотел, чтобы кроме рисунка на яйце еще поместился и текст вирша. Это для будущего богомаза оказалось в новинку, и он взялся за дело с жаром. В конечном итоге пасхальное яйцо Тимка, сиявшее фальшивой позолотой, произвело в бурсе фурор, особенно вирш: «Ты всех милее дев, желанная! Ты – лилий лилия, благоуханная! Плоть и душу пожирает жар желания, от любви теряю ум и сознание!» Его тут же переписали и выучили

наизусть: авось, пригодится когда-нибудь.

Подождав, пока все семейство Тыш-Быковских перецеловалось и принялось лобызать своих друзей и знакомых, Тимко решительно подошел к Ядвиге, вручил ей пасхальное яйцо – поцеловать ее он не решился – и сказал:

– Христос воскрес!

Ядвига подняла на него глаза и ответила нежным голоском:

– Воистину...

И тут она узнала Тимка:

– Ты?!

– Я...

Тимко не чувствовал ни рук, ни ног. Он утонул в ее бездонных зеленых глазах, шел на дно, как в омуте, но даже не пытался подняться на поверхность. Ему казалось, что обмен взглядами длится вечность. Щеки Ядвиги запылали маковым цветом, она не знала, что ей делать. Тимко в своем наряде и с саблей у пояса выглядел как настоящий шляхтич, рыцарь, а некоторая бледность от огромного волнения при неяром свете пасхальных свеч сделала черты весьма симпатичного лица бурсака и вовсе аристократическими. Тут кто-то из родичей ее позвал, девушка опомнилась, ткнула в руки Тимка свое пасхальное яичко и шепнула:

– Завтра, вечером... Приходи к домику...

Толпа пришла в движение, и Тимка оттерли в сторону. Вскоре бурление прихожан вытолкнуло его на край людского потока, и спудей, все еще не в состоянии переварить услышанное, побрел по дороге куда глаза глядят...

Пасха для бурсаков была кормилицей. В этот праздничный воскресный день мещане были щедры к спудеям, как никогда. Забывались все обиды, недоразумения и распри, и мешки, которые таскали с собой бурсаки, быстро

наполнялись разными вкусными вещами. Каждый киевлянин считал своим долгом одарить хоть чем-то городских нищих и бурсаков, которые недалеко ушли от попрошайек.

В спальнях веселье било через край. На горилку и варенуху деньги собирали всем миром, поэтому в напитках недостатка не ощущалось. А что касается закуски, то ее было больше, чем нужно. Старшие бурсаки щедро делились едой с мальцами из фарты, которые пока не приобрели необходимого нахальства для промысла, но спиртного им не давали. «Мал еще, молоко на губах не обсохло, шкет...» – говорил какой-нибудь великовозрастный дядька, который постигал бурсацкую науку добрых полтора десятка лет и делал «смазь» первогодку, осмелившемуся прийти с рюмкой к общему котлу.

Только Тимко не участвовал в праздничном пиршестве. Он не выпил даже слабенькой варенухи, лишь задумчиво пожевал булку и кусок копченой колбасы, кстати ворованной, – к столу ее принес Микита Дегтярь. Он редко опускался до примитивных краж, но если брался за дело, то весьма основательно. Вот и сейчас Микита украл не кольцо колбасы, что, в общем, не считалось подвигом среди бурсаков – умельцев «стибрить, сбондить, спереть, сляпснуть», как они выражались, такую малость было пруд пруди, – а притащил целую торбу разных копченостей. Похоже, пока шла всенощная, он успел побывать на хорошо проветриваемом чердаке какого-нибудь зажиточного мещанина, где все эти вкусы давно дожидались употребления.

– Эй, почему такой кислый? – спросил Микита, хлопнув Тимка по спине широкой дланью. – Уж не заболел ли?

– А то ты не догадываешься, – смеясь, сказал Ховрах. – Amor vincit omnia – любовь побеждает все. Даже чувство голода.

– Кто, кто она?! – бурсаки взяли Тимка в плотное кольцо – темы любви и женитьбы были самыми популярными в бурсе. – Расскажи!

– Да ну вас!.. Идите к чертям собачьим!

Тимко растолкал товарищей и удалился на свою койку. Больше приставать к нему не стали – это было опасно. Несмотря на сухощавую фигуру, в схватке Тимко мало кому уступал. Его побаивался даже общепризнанный силач бурсы

Хома Довбня. При первом знакомстве они подрались, хотя Тимко был младше своего противника и, по идее, должен был уступить, но не тут-то было; их смог разнять только педель, надзирающий за поведением бурсаков вне учебных аудиторий. Тимко и Хома так друг дружку исколотили, что полмесяца чесали побитые бока и прикладывали к фингалам бодягу. С той поры они и сдружились.

Тимко лег на свой сенник и с надеждой уставился в изрядно засиженное мухами и закопченное оконце. Ему казалось, что день никогда не закончится. Время тянулось так медленно, что превратилось в воображении Тимка в огромное колесо водяной мельницы, которое неустанно и монотонно шлепало лопастями по воде, навевая тоску и сонную одурь. Он даже не заметил, как уснул, а проснувшись, с ужасом понял, что давно наступил вечер, а может, и ночь. Но спросить, который час, было не у кого – все бурсаки, разомлевшие от сытной еды и спиртного, спали мертвым сном.

Никогда прежде Тимко так не бегал. Он мчался по улочкам и переулкам Подола как вихрь. От него шарахались не только редкие прохожие, но даже бездомные собаки. Обычно любой бегущий человек вызывал у них неистребимое желание облять его, а то и пуститься вдогонку, но почему-то ни одна дворняга не стала преследовать Тимка. Похоже, псы почуяли, что бежит он не из-за страха, а по совсем иной причине, которая была им вполне понятна, – пришла весна, пора любви не только у людей, но и у животных.

Забор, ограждающий сад и подворье Тыш-Быковских, вырос перед Тимком как стена. Он не задумывался, как перелезет на другую сторону, но теперь эта проблема встала перед ним, что называется, колом. Когда бурсаки собрались обчистить коптильню богатого шляхтича, перебраться через забор для них не составило особого труда: Ховрах влез на спину Хоме, изображавшему ступеньку, забрался наверх по веревке и помог остальным преодолеть высокую преграду. Но как это сделать в одиночку?

Тимко в досаде выругался: ну почему, почему он не взял у Ховраха его знаменитый пояс-веревку с крюком на конце?! Бурсак прошелся вдоль ограды с надеждой найти хоть какую-нибудь жердь, с помощью которой он смог бы влезть наверх, и когда подошел к тому месту, где находился летний домик, то вдруг остановился как вкопанный – с забора свисала веревочная лестница! Ядвига, милая Ядзя! Она все предусмотрела...

Тимко мигом перебрался в сад и подошел к окну. Оно было, как и в первый раз, открыто. И как тогда, в комнате горела свеча. Подтянувшись, Тимко сел на подоконник и увидел девушку. Она не спала, а сидела возле стола, положив прелестную головку на кулачки, и задумчиво глядела на огонь свечи. При таком освещении Ядвига показалась Тимку еще прекрасней, чем прежде. Он спрыгнул на пол, девушка подняла голову... и радостное «Ах!» сорвалось с ее губ. Не помня себя, бедный спудей подошел к ней на подгибающихся ногах, упал на колени и начал страстно целовать руки девушки. Ядвига что-то тихо лепетала, он отвечал ей, чаще всего невпопад, потому как был на седьмом небе от счастья, переполнявшего все его естество, она гладила Тимка по голове, а затем поцеловала в макушку...

Но оставим их наедине друг с другом. Любовь стара как мир, и все слова, которые говорят влюбленные в моменты свиданий, повторялись за всю историю человечества миллионы раз, тем не менее от этих повторений они не стали избитыми и пошлыми. Признания в любви – это молитва влюбленных, а из молитвы, как известно, слова не выкинешь.

Глава 5. Дуэль

Мишель де Граммон быстрым шагом направлялся в сторону окраины Парижа. Он был мрачен и чем-то сильно озабочен, о чем свидетельствовал нервный тик, время от времени крививший тонкие, резко очерченные губы. Встречным мужчинам очень не нравился его несколько диковатый взгляд, и они опускали глаза, чтобы не нарваться на скандал или, что гораздо хуже, на удар длинной шпаги, которая висела у пояса молодого человека.

Чем дальше уходил он от центра Парижа, тем улицы становились чище, шире и тише. На них уже попадались внушительные особняки с дворами и садами. Особенно выделялся знаменитый дом маркизы Рамбуйе, построенный по ее собственному проекту на улице Святого Фомы. Несколько поодаль находился Лувр. Мишель постарался держаться как можно скромней и незаметней, пристроившись к какой-то процессии, которую, как обычно, возглавляли монахи; возле королевского дворца было чересчур много стражи, которая терпеть не могла празднующихся бездельников. Иногда, чтобы как-то скрасить дежурство, королевские гвардейцы сажали кого-нибудь под замок, дабы всласть

покуражиться над задержанным, обвиняя его в заговоре против короля. Бедняга готов был сапоги им лизать, лишь бы его отпустили. Обычно он отделялся испугом и дюжиной бутылок вина – гвардейцы не были законченными негодьями и знали меру своим «шуткам».

Неподалеку от Лувра стоял замок Шатле – большое мрачное здание с высокими стенами и башнями, – когда-то служивший главной опорой парижской крепости. Мишель со страхом посмотрел на замок, в котором теперь размещался парижский прево и суд, и невольно прибавил шагу. Зазевавшись, он едва не сбил с ног купеческого старшину, спешащего к расположенной чуть дальше городской ратуше. Дородный господин в ярко-красном платье с золотыми пуговицами, украшенном витыми шнурами, напоминал рассерженного петуха. Это сходство подчеркивала тока – маленькая шапочка на его голове, наполовину красная, наполовину коричневая.

– Извините, мсье... – буркнул Мишель и поторопился оставить купеческого старшину в одиночестве, потому что тот принял позу оратора и приготовился произнести речь.

Мишель мог поклясться, что знает ее содержание. Он много раз выслушивал подобные назидания, и ему вовсе не улыбалась перспектива кивать и поддакивать старому ослу, который многословно, с апломбом примется утверждать, что в его юности молодые люди были куда более прилежные и законопослушные, нежели нынешние, вода в Сене чище, а сахар слаще.

Наконец Мишель добрался до улицы Сен-Дени. Там находилась церковь Сен-Ле, где хранились мощи святой Елены – царицы, матери императора Константина, который первым из римских императоров принял христианство. Но юный де Граммон торопился сюда не за тем, чтобы припасть к христианской святыне и помолиться; для своего возраста он чересчур скептически относился ко всему, что касалось веры, и к мощам святых в частности. Обычно они были поддельными, и ими торговали все, кому не лень. На улице Могильщиков жил бывший «служитель печали», который хоронил останки казненных, так у него можно было разжиться мощами почти всех христианских святых. Особенно много у него было фаланг пальцев рук.

Мишель де Граммон шел в недавно открытую неподалеку от церкви Сен-Ле школу фехтования, которую содержал шевалье Пьер де Сарсель. Как Мишель и предчувствовал, ему вновь пришлось встретиться с бретёром. Они нечаянно

столкнулись на улице Могильщиков, хотя несколько позже де Граммон сообразил, что де Сарсель искал его. Они посидели в таверне, поговорили о том о сем, вспомнили отца Мишеля, а когда расставались, шевалье предложил ему то, о чем давно мечтал юный сорвиголова, да денег у него не было, – посещать школу фехтования. Бесплатно.

Оказалось, что шевалье заручился поддержкой кого-то из окружения парижского прево и получил патент, дающий ему право обучать всех желающих искусству фехтования. Помещение нашлось быстро, правда, его пришлось перестроить, добавив просторный зал, и вскоре слава о школе де Сарселя вышла даже за пределы Парижа. Он готовил не просто куртуазных щеголей с элементарными навыками владения клинком, а настоящих бойцов, которые с одинаковым успехом могли сражаться не только шпагой, но и другими видами холодного оружия.

Это было грубое искусство, но очень действенное – на дуэлях, хоть они и были запрещены королевским эдиктом, чаще всего побеждали ученики школы де Сарселя. Спустя полгода от желающих получать уроки у шевалье не было отбоя. Дворяне платили любую цену, лишь бы научиться владеть шпагой так, как сам наставник Пьер де Сарсель. Когда Мишель начал заниматься у него, то сразу понял, что сравниться с шевалье в мастерстве владения шпагой вряд ли кто сможет; даже признанные парижские бретёры-забияки, которых хлебом не корми, а дай подраться, как он потом узнал, старались держаться с де Сарселем предельно вежливо и учтиво.

Отрабатывая разные приемы, Мишель с невольной дрожью вспоминал Двор чудес и Великого Кэзра. Король воров и нищих со своим Божьим судом конечно же лукавил. Он точно знал, что у юного дворянина нет шансов остаться в живых, – Пьер де Сарсель был на голову выше Мишеля в искусстве фехтования. А еще де Граммон небезосновательно предполагал, что свою школу шевалье открыл не без помощи Великого Кэзра. Но как мог такой выдающийся человек, пусть и бретёр, как Пьер де Сарсель, оказаться в одной компании с парижским отребьем? Это было для Мишеля загадкой.

Обычно они занимались ранним утром. Дворяне любили понежиться в постели, поэтому подтягивались в школу ближе к полудню. Де Сарсель не делал Мишелю никаких поблажек с оглядкой на возраст, он сразу сказал:

– Клинку безразлично, чью кровь он будет пить – юного молокососа или убеленного сединами мужа. Прицепил шпагу к поясу – ты уже воин, и не важно, сколько тебе лет. В схватке никто на твои годы скидки не даст. И запомни главное: когда на тебя нападут, прежде убей противника, а потом можешь перед ним извиниться, если был не прав.

Боевое фехтование, а именно его де Сарсель преподавал Мишелю, мало напоминало то, к какому юноша привык и чему научил своего сына Николая де Граммон. Наверное, бравый гвардеец не хотел, чтобы сын пошел по его стопам и пал в какой-нибудь дрянной заварушке, защищая кардинала Мазарини, которого он терпеть не мог. Отец мечтал, отправляясь в последний поход, что заработает немного денег, выйдет на пенсию и вместе с Мишелем они откроют торговое дело. Увы, судьбе было угодно распорядиться иначе...

Фехтование бретёра больше напоминало уличную драку, в чем Мишель преуспевал, начиная с детского возраста. Здесь разрешались самые подлые приемы и удары не только шпагой, но и ногой, рукой и вообще всем, что попадетсЯ.

– Забудь о правилах! – зло прикрикнул он на Мишеля, когда тот встал в позу и заявил, что так драться нельзя. – Человеку не до благородства, когда идет речь о спасении жизни. Иногда приходится горло грызть противнику, чтобы остаться в живых. Эффектные позы и приемы годятся лишь для салонных бойцов, которые хотят произвести впечатление на дам. Даже когда противник заведомо слабее тебя, не расслабляйся ни на миг! Один зевок – и ты на небесах, стоишь перед святым Петром.

Откровения следовали за откровениями.

– Старайся блокировать удар не лезвием клинка, а плоскостью, – поучал де Сарсель. – Иначе шпага после нескольких боев будет похожа на пилу и никакой точильщик не возьмется ее поправить. Парировать лезвием можно лишь укол, и то мягко, с одновременным уходом на другую позицию. Обычно все наставления по фехтованию пишутся для поединков без защитного снаряжения, ведь в дуэлях, уличных драках, засадах и подзаборных стычках не надо наносить рубящие, раскалывающие удары по доспеху, чтобы достать до кости. В уличных схватках или на дуэли удары должны лишь покалечить противника настолько, чтобы заставить его раскрыться для смертельного укола, либо чтобы удержать на расстоянии. Поэтому шпага в городских условиях может выдержать

несколько зазубрин и выбоин. Иное дело на поле битвы. Блокировав сильный удар лезвием, можно остаться без оружия. А это, считай, финита – конец. Ломаются даже лучшие клинки мастеров Толедо.

Постепенно юноша приобретал необходимые навыки, хотя после посещения школы фехтования болело все тело; они дрались учебным тупым оружием, но на первых порах Мишелю изрядно доставалось. Де Сарсель и сам терпел, когда юноша разил его каким-нибудь хитрым финтом, но, когда выпадал случай, тоже не сдерживал руку. Не будь на них ватных колетов, какой-нибудь удар или выпад мог запросто сломать кость.

Сегодня Мишель шел в фехтовальную школу во второй раз. С утра, как обычно, он позанимался с де Сарселем и даже получил от него похвалу, потому что сражался с наставником почти на равных, а затем возвратился домой – как оказалось, чтобы нарваться на большие неприятности.

Мишель де Граммон, горячий, как все гасконцы, ревниво наблюдал за романом сестры Колетт с гвардейским офицером и в один прекрасный день попытался выставить его за дверь окончательно и бесповоротно. В это время никого не было дома, и, когда поклонник явился, Мишель отказался впустить его и посоветовал забыть сюда дорогу. Но тут вернулись мать с сестрой, которые ходили на рынок за провизией. Назвав сына ребенком, чтобы задобрить кавалера дочери, мать велела Мишелю удалиться, а офицеру предложила пройти в комнаты. Разразился скандал; Мишель был в ярости, гвардеец неистовствовал.

И надо же было такому случиться, что на следующий день они встретились лицом к лицу, притом без посторонних, которые могли бы воззвать к здравому смыслу юного гасконца и офицера королевской гвардии. Сестре шили новое платье, потому что в старом, практически в обносках, она не могла выйти со своим будущим женихом в свет, а мать сопровождала ее к портному.

– Вы опять пришли? – грубо спросил Мишель. – Шевалье, назойливость не входит в перечень христианских добродетелей.

– Не вам решать, куда мне ходить и что делать! – наливаясь от злости кровью, с горячностью ответил офицер.

– Я не желаю видеть вас в своем доме, – Мишель из последних сил старался не потерять самообладания. – Поэтому вам лучше развернуться и уйти отсюда подобра-поздорову.

– Мсье, вы еще сосунок давать мне такие советы!

– Будь я постарше, моя шпага показала бы, кто есть кто!

– Ах, мы еще и шпагой умеем владеть? Ну надо же... А я думал, она болтается у вас на боку в виде украшения. Короче, если ты еще раз, щенок...

Это уже был перебор. Едва прозвучало слово «щенок», как гасконский нрав взял верх. Мишель де Граммон выхватил шпагу из ножен и крикнул:

– Защищайся, разряженный павлин!

Офицера не понадобилось долго уговаривать взяться за оружие. Задета была его честь, а в такие моменты французские дворяне плевали с высокой колокольни на запреты кардинала Мазарини – парижане знали, что именно он составляет все королевские эдикты. Гвардеец обнажил шпагу, и улица наполнилась звоном стали. Окна вторых этажей как по команде открылись, и любопытные матроны и девицы разных возрастов с извечным женским любопытством принялись, как в театре, наблюдать за ходом поединка, который явился для них отличным развлечением в череде скучных дней, заполненных монотонной домашней работой и ссорами с соседками, тем более что на улице Могильщиков дуэлянты дрались очень редко.

Но дуэль закончилась, едва начавшись. Наверное, гвардейский офицер понадеялся на свое боевое прошлое и большой опыт подобных поединков, тем более что против него выступал неоперившийся юнец, которого не стоило воспринимать всерьез. Конечно же дрался ухажер Колетт по всем правилам, да вот беда – ему встретился противник, который эти правила благодаря науке бретёра Пьера де Сарсея напрочь игнорировал. Мало того, Мишель с утра хорошо размялся в фехтовальном зале, и его мышцы сами делали то, что должно, нередко опережая мысль.

Парировав выпад офицера, отбив его клинок вверх, Мишель, до этого работавший в высокой стойке, вместо того чтобы отскочить на безопасное

расстояние, неожиданно поднырнул под шпагу гвардейца и стремительным выпадом поразил его в живот. Этот прием из-за своего малого роста Мишель де Граммон решил сделать своим козырем и старался довести его до совершенства.

Офицер упал, кровь хлынула на камни мостовой, дамы дружно ахнули, и окна тут же закрылись – никому не хотелось выступать в роли свидетеля, когда появятся городская стража и помощники прево. Мишель неторопливо вытер шпагу и с победной ухмылкой подошел к поверженному противнику. Молодому человеку было не чуждо сострадание, поэтому он обратился к офицеру с такими словами:

– Мсье, я позову лекаря, чтобы вам сделали перевязку.

Но гвардеец не ответил. Присмотревшись, юный бретёр понял, что его противнику помощь уже не нужна, – офицер был без сознания и, похоже, при последнем издыхании. Его бледное лицо быстро принимало синеватый оттенок, и Мишель заключил, что рана чересчур серьезная и бинты не понадобятся.

И тогда на смену яростному боевому задору пришел страх. Убить офицера гвардии! Тут тюрьмой не отделаешься, ему грозит казнь. Новый муж матери, мсье де Молен, оказался провидцем – пасынка и впрямь повесят на Гревской площади. Что делать?! Дома оставаться нельзя, в этом нет сомнений. Нужно немедленно покинуть Париж! Но как, если нет ни лошади, ни денег на дилижанс? И нет человека, который помог бы хоть чем-то. Стоп! Почему нет? Есть! Пьер де Сарсель! Он поможет, он точно поможет!

Воодушевленный этой идеей, Мишель бросился бежать и неся, пока не оказался на берегу Сены, возле моста Святой Анны. Мост построили из дерева в 1632 году и назвали в честь Анны Австрийской. Он состоял из пятнадцати арок и был красного цвета, за что парижане прозвали его Пон-Руж – Красный мост. Там Мишель наконец перешел на быстрый шаг, хотя ему хотелось мчаться к церкви Сен-Ле, где находилась фехтовальная школа, без оглядки...

Пьер де Сарсель, как обычно в этот час, был занят. Он занимался с каким-то придворным франтом, хотя, как подметил острый глаз Мишеля, тот был весьма искушен в фехтовании. Об этом говорило уже то, что они устроили учебный поединок с настоящим оружием. Со стороны даже казалось, что он гоняет де Сарселя по фехтовальному залу, как зайца, но Мишель лишь хмуро ухмыльнулся,

несмотря на скверное настроение. Уж он-то хорошо знал наставника. Ушлый бретёр валял дурака, чтобы вселить уверенность в своего клиента и чтобы тот и дальше приносил ему денежки: как же, он едва не победил самого де Сарселья!

Заметив мрачного, как темная ночь, Мишеля де Граммона, хозяин фехтовальной школы сразу смекнул, что у юного дворянина серьезные неприятности, и одним элегантным финтом обезоружил противника.

Раскланявшись с ним, он сказал с деланным восхищением:

– Мсье, вы делаете большие успехи! Еще десять-пятнадцать занятий, и вам не будет равных среди лучших бойцов Парижа.

Довольный сверх всякой меры похвалой из уст большого мастера, фронт удалился, а де Сарсель подошел к Мишелю и встревоженно спросил:

– Что стряслось?

– Я убил на дуэли офицера гвардии, – ответил де Граммон.

– Эка беда... – де Сарсель облегченно вздохнул. – Одним гвардейцем меньше, одним больше, какая разница? Надеюсь, тех, кто может вас опознать, рядом не было?

– Если бы...

И Мишель рассказал, как все произошло.

– Худо... Это совсем худо... – де Сарсель помрачнел.

– Мне нужно бежать из Парижа!

– Куда? У вас есть надежное укрытие?

Вопрос был резонным; и впрямь Мишеля нигде и никто не ждал. У него не было за пределами Парижа ни близких родственников, ни даже хороших знакомых.

- Нет... - Мишель потупился. - Укрыться мне негде.

- Вот то-то же...

Де Сарсель надолго задумался. А потом сказал:

- Есть одно местечко... но в Париже.

- Двор чудес? - попытался догадаться Мишель.

Шевалье улыбнулся.

- Не думаю, что это самый лучший вариант, - ответил он. - Там вас чересчур хорошо запомнили. И уж братской любви во Дворе чудес вы точно не дождетесь. К тому же не исключено, что в окружении Великого Кэзра завелась крыса. А значит, вскоре на ваш след выйдут ищейки прево. Я определю вас к одному очень интересному человеку. У него вас точно искать не будут. Долго там вы не пробудете - лишь до того, пока я не разведу обстановку. Может, все и обойдется. А нет... что ж, тогда будем думать, как вам жить дальше.

- Но мне нечем заплатить за приют!

- Пусть это вас не волнует. Тот человек обязан мне жизнью, за ним долг. Вот и пришло его время оказать мне услугу.

- Но тогда я буду вашим должником...

Де Сарсель весело подмигнул Мишелю и ответил:

- Непременно. Но с вашими задатками, я уверен, свой долг вы вернете мне с лихвой. Уж поверьте моему чутью. Так что не беспокойтесь - я кредитор терпеливый, буду ждать сколь угодно долго. Уйдем отсюда вечером, когда стемнеет. А пока извольте пройти в мою комнату. У меня есть немного свободного времени, и мы отобедаем. Ничто так не возбуждает аппетит, как хороший удар шпагой...

Де Сарсель вдруг заразительно засмеялся.

– Однако... – он протер глаза, потому что они заслезились от смеха. – Надо отдать вам должное, мой молодой друг, уложить гвардейского офицера – дело совсем непростое. Я горжусь таким учеником. Что ж, мы сейчас отведаем превосходного каплуна, который еще утром клевал отборное зерно, и выпьем доброго вина. Нам сюда, прошу...

Он указал на неприметную дверь, которая вела в его личные «апартаменты» – небольшую комнатку с кладовой, обставленную со спартанской простотой: кровать, стол, два табурета, распятие на стене. Мишель подозревал, что де Сарсель прицепил распятие для того, чтобы избежать лишних разговоров. Судя по некоторым приметам, он был еще большим безбожником, чем юный де Граммон...

Идти было недалеко – до заставы Сен-Мартен. По пути им встречались подозрительные личности, которые не прочь были ознакомиться с содержимым кошельков припозднившихся прохожих, но решительный вид двух дворян при шпагах не очень располагал к грабежу, и они торопились раствориться в темноте подворотен.

Вскоре Пьер де Сарсель и юный бретёр оказались за пределами городской черты, возле мрачного дома, где светилось лишь одно окно. Присмотревшись, Мишель вздрогнул – наставник привел его к особняку парижского палача! Около входа стоял каменный крест, у которого должники объявляли о своем банкротстве. Здесь же находилась лавка, принадлежавшая палачу, причем мэтру Амбруазу – так звали самого зловещего человека в Париже – было что предложить своим постоянным клиентам. Он приторговывал лекарственными травами и частями тел казненных преступников, без которых не мог обойтись ни один алхимик или чернокнижник. Особенно были в ходу такие вещи, как «рука славы» – кисть, отрубленная у преступника, – и кусок веревки, на которой он был повешен.

К чести мэтра Амбруаза нужно отметить, что он был неплохим лекарем. Мэтр хорошо разбирался в травмах и болезнях, и его лечение всегда приносило облегчение больным и увечным, хотя редко кто отваживался переступить порог особняка парижского палача. Кроме того, он готовил различные настойки, и не все они были целебными. Мишель знал об этом со слов зеленщика, большого любителя выпить и поболтать, который долгое время был тюремным

надсмотрщиком в Шатле; выйдя на пенсию, он завел небольшое дело, и его лавочка располагалась в нескольких шагах от дома де Граммонов.

Мэтр Амбруаз за большие деньги мог приготовить такой яд, который не оставлял никаких следов. За этим к нему обращались видные придворные; один из них за баловство с такой настойкой ждал своей участи в тюрьме Шатле, и от безысходности поделился с тюремщиком ценной информацией. Правда, дальше подвала замка она не ушла; в тот же вечер он умер от пыток, которым его подверг мэтр Амбруаз. После этого случая тюремщик поторопился выйти на пенсию, хотя мог еще долго служить королю – работенка у него была не пыльная, но денежная. Будущий зеленщик опасался, что мэтр Амбруаз поинтересуется содержанием его бесед с дворянином-отравителем...

Пьер де Сарсель взял в руки молоток, подвешенный на цепочке возле парадного входа в особняк, и выстукал какой-то замысловатый ритм. Вскоре гроыхнул засов, дверь отворилась, и невидимый в темноте человек – скорее всего, слуга – сказал:

– Входите, мсье...

Трепеща от неожиданного страха, Мишель де Граммон вошел в узкую дверь, и та со скрежетом закрылась. Наверху лестницы, по которой нужно было подняться на второй этаж, теплилась свеча – она не столько светила, сколько усиливала мрак, окруживший юного дворянина. Ему казалось, что он вступил в преддверие ада, а оранжевое свечение впереди исходит от костров под котлами, где варятся большие грешники.

Глава 6. Знахарь

Бурса обезлюдела. К лету мальцы из фары и богословы разъехались по домам, а те, кто намеревался заработать денег на пропитание с помощью репетиций – в основном бурсаки второго отделения, философы, – остались в городе, который готовился к осаде. Военская залога Киева была немногочисленной, и киевский полковник Антон Волочай-Жданович предложил великовозрастным бурсакам влиться в ополчение, что многие и сделали с большой охотой, ведь теперь заботу о пропитании и одежде спудеев придется взять на себя городскому

магистрату.

Тимко разрывался между новыми обязанностями и любовью к Ядвиге. Редко какой вечер они не встречались. Девушка познакомила его с меделянами, охранявшими сад и подворье Тыш-Быковских, – он несколько раз покормил их с рук под ее присмотром, и после этого здоровенные псы приняли Тимка за своего и ластились к нему, как щенки. А как не ластиться, если Ядвига приносила из кухни для меделянов отборные куски свежего мяса, тогда как обычно собакам давали мучные болтушки и иногда немного костей. Так что теперь вход в сад был для спудея открыт, и опасаться приходилось только сторожей.

Но времена наступили тревожные, и слуги Тыш-Быковских начали разбегаться кто куда. Некоторые уехали из Киева, как и многие состоятельные мещане, которые хорошо знали, что такое польский гонор и как действуют карательные отряды Речи Посполитой. Наверное, и Тыш-Быковские последовали бы за остальными шляхтичами, перешедшими в православие и не надеявшимися на прощение за измену вере, если Киев падет под ударами войск Януша Радзивилла. А что это произойдет, после поражения отряда наказного гетмана Небабы стало очевидно. Город большой, как защитить все валы?

Но отец Ядвиги сильно заболел. Его трепала со страшной силой лихорадка, и ни лекари, ни знахари не понимали, в чем дело. Если раньше девушка была живой и быстрой, как огонь, то теперь она выглядела бледной и измученной, часто плакала, прильнув к груди Тимка, и только его ласки немного ее успокаивали. Плач Ядвиги кромсал сердце спудея, он готов был сделать все что угодно, лишь бы любимая снова стала такой, какой предстала перед ним при первых встречах.

Наконец Тимко решился обратиться за помощью к своему другу Миките Дегтярю. Несмотря на доверительные отношения между ними, Микита понятия не имел, куда бегают Тимко по вечерам. Он, конечно, догадывался, что у его друга завелась зазноба – не диво для молодого симпатичного парня, тем более бурсака, – но Микита предполагал, что это какая-нибудь молодлица с Подола, скорее всего, вдовая. А то, что Тимко не спешил делиться подробностями амурных походов, не одержимого бесом любопытства Микиту вовсе не смущало; придет время – расскажет.

Мало кто знал, что у Микиты был особый дар. Он не только пользовал своих товарищей материнной мазью, после которой любые побои заживали очень

быстро. Микита умел «заговаривать» болезни, как бабка-шептуха. Причем такие, супротив которых оказывались бессильны даже самые известные киевские знахарки. Но Микита не распространялся по поводу своих способностей, хотя мог бы хорошо зарабатывать на этом.

Он вообще был не от мира сего – довольствовался малым, делился с товарищами последним, часто задумывался неизвестно о чем, и в такие моменты обращаться к нему было бесполезно. Учился Микита вроде нехотя, но обладал изумительной памятью, что здорово его выручало, особенно на первом отделении коллегіума.

Некоторые преподаватели любили застать врасплох бурсака, который во время занятия думал о чем угодно, только не о предмете. Задав каверзный вопрос и не получив ответа, учитель звал «ассистентов», и нерадивый бурсак получал в углу, возле печки, где находилось место для экзекуций, свою порцию «березовой каши».

Но с Микитой такой номер не проходил. Когда его поднимали, он слово в слово повторял то, что перед этим говорил преподаватель, чем повергал того в совершеннейшее изумление. Вскоре от Микиты все отстали, потому как поймать его на нерадивости или невнимательности было невозможно.

– Микита, прошу тебя как друга, – сказал Тимко. – Помоги вылечить одного человека. По гроб жизни буду тебе благодарен!

– Да будет тебе... – недовольно ответил Дегтярь. – Если надо, значит, надо. Сумею – помогу. Что у него за болезнь?

Тимко рассказал.

– Худо дело... – Микита нахмурился. – Эту лихоманку так просто не излечишь. Похоже, на этого человека навели порчу. А если в него вошла Трясовица, то ему уже никто не поможет.

– Что такое Трясовица?

– Это злой демон. Чтобы выгнать его из человека, требуется много сил... Боюсь, я пока не могу сразиться с такой коварной нечистью.

- Микита! Хочешь, я на колени перед тобой встану?! А вдруг получится!

- Что ты, в самом деле?! Перестань... Ладно, была не была! Говори, кто этот несчастный, я подготовлюсь, и мы пойдем.

- Это...

Тимко немного замялся, но все же продолжил:

- Это шляхтич Тыш-Быковский. Помнишь, весной мы обчистили его коптильню?

- Шляхтич?! - гневно воскликнул Дегтярь. - Друг мой, в своем ли ты уме?!

Тимко оторопел.

- Что я такого сказал? - спросил он в недоумении.

- Если бы мне предложили на выбор шелудивого пса или шляхтича, я бы выбрал собаку! Все, ты ничего мне не говорил, а я ничего не слышал!

- Что тебе сделал дурного Тыш-Быковский?!

- А ты не знаешь?

- Откуда?

- Не лично Тыш-Быковский, а польская шляхта, - глухо сказал Микита. - Отца моего Ярема Вишневецкий - пес поганый! - запытал до смерти и приказал сжечь вместе с хатой. Мы с матерью прятались под поленницей дров, и все видели. Никогда ни Яреме, ни полякам этого не прощу!

Тимко потупился. А что скажешь? Поляков ненавидели все. Но как быть с Ядвигой?!

- Микита, не ради шляхтича прошу... - голос Тимка дрожал, а на глаза набежали слезы. - Ради его дочери, Ядвиги... Мы любим друг друга. Я жить без нее не

могу! И не буду!

– Вон оно что... – Микита удивленно покрутил головой. – А я-то думаю... Вишь, как высоко ты забрался. Упасть не боишься? Лететь хорошо, легко и весело, но вот приземляться будет больно. Можно все кости переломать.

– Мне все равно! Помоги, Микита! Христом Богом прошу! Пусть лучше его свои на палю посадят, если словят, но здорового, а мне нужно, чтобы моя ясочка повеселела хоть ненадолго. Она совсем плохо стала выглядеть.

– Да-а... – Дегтярь поскреб пятерней в затылке. – Преподнес ты мне новость... Вот и получается, что никогда нельзя загадывать наперед, а тем более произносить клятвы. Я поклялся мстить шляхте, а выходит, теперь должен вытаскивать польского пана с того света. Экая мудреная штука, жизнь... – он тяжело вздохнул. – Ладно, куда тебя денешь. Но если ничего не получится, уж не взыщи! Не лежит у меня душа к этому делу, и все тут.

– А ты попробуй, попробуй!

– Попробую... Когда идем?

– Вечером.

– Времени вполне достаточно. Оставь меня одного и посторожи, чтобы в комнату никто не вошел.

– Пусть только попробует кто-нибудь войти! – Тимко крепко сжал рукоять карabelы.

Теперь все бурсаки, которые записались в ополчение, ходили оружные. Но лишь Тимко и еще несколько человек носили сабли и пистолы – из-за дороговизны их могли себе позволить лишь отпрыски казачьих семей. Остальные обзавелись кто чем: один щеголял боевой косой, другой – палицей, окованной металлом, третий имел кистень, у кого-то нашлось копье, некоторые где-то достали луки, и очень немногие похвалялись старинными самопалами и ручницами, очень нужными во время осады.

Но главным для бурсаков было то, что они будто по мановению волшебной палочки превратились из оборванцев в прилично одетых вояк. Киевский полковник Антон Волочай при виде бурсацкого пополнения схватился за голову. Конечно, запорожцы, отправляясь в дальние морские походы, выглядели не лучше киевских спудеев, потому что натягивали на себя совершеннейшие лохмотья. Зато, вернувшись с хорошей добычей, наряжались как паньчи. Но одно дело – чужая сторона, где ходи хоть голый, а другое – Киев. Вооруженные бурсаки-оборванцы пугали мещан больше, чем войско Януша Радзивилла.

Тогда Антон Волочай бросил клич, и вскоре в бурсу доставили целый воз одежды, собранной для своих защитников благодарными жителями города: кто отдавал ее и впрямь по велению души, а некоторые – по известной поговорке «и вашим, и нашим»; таких хитрецов в Киеве хватало. Вещи были не новыми, но добротными, и юноши преобразились, да так, что даже базарные торговки не узнавали бурсаков.

Что касается Тимка, то он приоделся у своего дядьки Мусия. Все-таки старое платье Устима досталось ему, притом на вполне законных основаниях. Дядька Мусий даже горячо поблагодарил Тимка за то, что он обратился к нему. Тимко лишь ухмыльнулся при этом; он понимал, почему прижимистый дядька преисполнился благодарности к родичу. Если бы не Тимко, ему пришлось бы хорошо раскошелиться на нужды обороны Киева. И теперь спудей ходил по городу в одежде, которую не грех носить даже казацкому сотнику. Собственно говоря, его и принимали за запорожца, хотя у Тимка только начали пробиваться темные усики.

Когда стало темнеть, Тимко постучал в ворота Тыш-Быковских. Собаки сначала залаяли, но, почуяв знакомый запах, быстро замолчали и собрались по другую сторону ворот, с нетерпением поджидая своего доброго друга. Мудрый не по годам Тимко сохранил для них несколько кусочков мяса, и собаки словно чувствовали, что у него в карманах; они возбужденно повизгивали, тычась носами в щели, и вообще вели себя удивительно, что сразу же подметил привратник, выглянувший в небольшое окошко в воротах. Видимо, он решил, что это кто-то из знакомых хозяина, потому как спросил по-польски:

– Пшепрашем, як пану на имен?

– Отворяй, лікарь к пану Тыш-Быковскому! – жестко проговорил Тимко на польском, уклонившись от прямого ответа на вопрос привратника; зачем слуге

шляхтича его имя?

Как и многие казаки, он с детства знал польскую и татарскую речь – это была насущная необходимость, а в бурсе Тимко учил обязательную латынь и старославянский. Кроме того, дабы не изучать углубленно катехизис, он взял себе нагрузку – французский язык, благо чужая речь давалась ему легко, в отличие от богословия, которое приходилось зазубривать едва не наизусть, что для любого бурсака страшнее наказания на воздушных.

– Пан не звал лекаря... – заколебался привратник.

– Тогда кликни пани Ядвигу! – нетерпеливо повысил голос Тимко. – Да побыстрее, любезный!

Привратник ушел. Он поступил правильно – незнакомым людям нечего делать в доме хозяина без приглашения, особенно в вечерний час. Тем не менее Тимко занервничал и втихомолку выругался. Что касается Микиты, то он был спокойным и даже с виду немного сонным – как удав, который съел кролика. Они почти не разговаривали, пока добирались до усадьбы Тыш-Быковских; Дегтярь был погружен в себя и, казалось, ничего вокруг не слышал и не видел. Тимко даже опасался, что он упадет в какую-нибудь рытвину и свернет себе шею, однако ноги Микиты сами находили удобные места, и он не отставал от Тимка, который летел вперед как на крыльях.

Пришла Ядвига; Тимко сразу узнал ее по легким быстрым шагам.

– Пани Ядвига! – сказал он официальным тоном. – Я привел к вашему отцу лекаря, как договаривались.

Услышав голос Тимка, девушка тихо вскрикнула, но взяла себя в руки и приказала привратнику:

– Открывай!

Калитка в воротах распахнулась, и спудеи оказались во дворе усадьбы. Собаки окружили Тимка, сильно смутив Дегтяря, но, получив по кусочку мяса, отстали от визитеров. Ошеломленный привратник, который испугался, что медеяны

могут порвать лекаря и его сопровождающего, приготовился на них прикрикнуть, да так и застыл с открытым от изумления ртом.

Спудеи вслед за Ядвигой зашли в дом и очутились в просторной светелке, обставленной не то чтобы пышно, но приятно. И мебель, и домотканые коврики на полу, и другие вещи были местного производства – за исключением большого венецианского зеркала в резной раме и нескольких парсун, писанных маслом польскими художниками, – но их делали хорошие мастера, поэтому обстановка светлицы радовала глаз и приносила эстетическое удовольствие, по крайней мере Тимку – точно. Ему казалось, что он попал в родной дом, а присутствие Ядвиги и вовсе было ему как елей на душу.

– У отца только что случился приступ, – устало сказала девушка. – Он отдыхает, и вам придется подождать.

– Ядзя! Кто там? – вдруг раздался мужской голос; он доносился из приоткрытой двери в покои хозяина дома.

– Отец, это... – Ядвига вопросительно глянула на Тимка, и тот кивнул. – Это лекарь... и его помощник.

– Пусть войдут...

Взору спудеев открылась безрадостная картина. Тыш-Быковский когда-то был крупным, дородным мужчиной, но теперь перед ними на смятой постели лежала его тень – изможденное худое тело, бледное лицо с запавшими щеками, всклокоченные седые волосы, темные глаза с лихорадочным блеском.

– Вы кто? – устало спросил шляхтич.

Микита какое-то время молча присматривался к нему, а затем решительно шагнул вперед и ответил:

– Не важно. Вы хотите выздороветь?

– Надеюсь, пан не смеется над больным человеком...

– Ни в коей мере. Просто некоторые хворые покорно сдаются на милость судьбы и не видят смысла бороться за жизнь. Таких людей лечить очень трудно, если не сказать – невозможно.

– Я готов землю зубами грызть, но выздороветь! У меня семья, дети... как им быть без меня?

– Что ж, надеюсь, у вас хватит силы воли выдержать то, что вам предстоит...

Микита достал из сумки, которая висела у него на боку, небольшую медную миску, две черные свечи, бутылочку с настойкой янтарного цвета и какие-то травы.

– Панна, – обратился он к Ядвиге, – пусть мне принесут горячей воды и мыло для омовения рук, а еще кувшин холодной, из колодца.

Ядвига убежала. Микита сел на табурет возле постели больного, взял его руку и надолго застыл в полной неподвижности, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Хозяин дома притих и еле дышал; он не отводил глаз от сумрачного лица бурсака, будто хотел прочитать на нем свой приговор.

Но вот принесли воду, и Микита сказал:

– А теперь покиньте опочивальню. И что бы здесь ни происходило, не входите! Никто не должен сюда войти! Иначе быть беде. Тимко, проследи за этим.

Ядвига и спудей вышли в светелку; Тимко нежно погладил девушку по пышным волосам цвета темной меди, она тихо всхлипнула, но сдержалась, не расплакалась. Они уселись рядышком на узеньком диванчике – единственной заграничной вещи в комнате, если не считать зеркала и картин – и приготовились ждать. Чего? Никто не знал, даже Тимко, который назвался помощником лекаря. Точнее – знахаря. Тимко уже понял, что Микита собирается совершить какой-то колдовской обряд. Спудей мысленно воззвал: «Прости нас, Господи! Спаси и сохрани...» и притих, с наслаждением ощущая близость Ядвиги.

Сначала из опочивальни хозяина дома не доносилось ни звука, ни шороха. А затем потянуло запахом горящего воска с примесью чего-то приторно-сладкого. Тимко даже чихнул, но тихо, как кот. И вдруг послышался страшный крик; это точно не был голос Микиты Дегтяря, в этом Тимко мог поклясться.

– Отец! – вскричала Ядвига и бросилась к двери.

– Стой! Остановись! – Тимко подхватил ее на руки, но она начала царапаться, как дикая кошка, и вырываться; похоже, Ядвига не соображала, что делает. – Туда нельзя!

– Не смей ко мне прикасаться! – неистовствовала Ядвига. – Прочь руки, холоп!

– Успокойся, милая, успокойся... – Тимко одной рукой с силой прижал ее к себе, а другой гладил по голове, как малое неразумное дитя. – Все хорошо...

Вскоре Ядвига притихла, благо в опочивальне снова воцарилась тишина. Тимко по-прежнему держал ее на руках; она доверчиво прильнула к нему и спрятала лицо на его широкой груди, будто и впрямь превратилась в маленькую девочку.

Но вот дверь отворилась, вышел Микита. Он был как с креста снятый – бледный, с блуждающим взглядом, а пот с него лил ручьями.

– Рушник... дайте, – каким-то чужим голосом попросил Дегтярь.

Ядвига резво соскочила с рук Тимка, нашла полотенце, и Микита начал вытирать лицо и шею.

– Войти к отцу можно? – робко спросила девушка.

– Да...

– Ну как? – Тимко с надеждой вглядывался в отрешенное лицо Микиты.

– Получилось. Ты тоже зайди... чтобы он хорошо запомнил будущего зятя.

Микита попытался улыбнуться, но получилось не очень, и он продолжил:

- И не спустил на тебя собак, когда придешь свататься к Ядвиге...

Тимко вошел в опочивальню. Шляхтич выглядел точно так же, как и до этого, но на его лице разлилось умиротворение, словно он уже исповедался и готовился перейти в мир иной. Лихорадочный блеск в глазах Тыш-Быковского сменился на спокойное свечение, будто изнутри кто-то зажег лампадку.

- Ядзя... дочка... - он говорил очень тихо. - Заплати лекарю... сколько скажет. Теперь я уверен, что выздоровею, - тут он перевел взгляд на Тимка. - Пан есть помощник лекаря?

- Не совсем... - смутился бурсак. - Хотя да, в какой-то мере...

- Примите мою благодарность. Вы двое спасли мне жизнь. Это точно. А теперь оставьте меня, я хочу отдохнуть...

Он закрыл глаза, и Ядвига со спудеем покинули опочивальню. Микита стоял посреди светелки как столб, только плохо вкопанный - шатался. Когда Ядвига подошла к нему с увесистым кошельком в руках, он поморщился и покрутил головой:

- Не надо. Я это делал только ради своего друга...

Он указал на Тимка. У Микиты вдруг закатились глаза, и, не подоспей к нему Тимко, он рухнул бы на пол.

- Что с ним?! - вскричала испуганная Ядвига.

Дегтярь открыл глаза и прошептал:

- Еда... Мне нужна еда. Дайте мне поесть... и попить.

- Матка Боска!

Ядвига выскочила на кухню, раздался ее звонкий голос:

– Зофка! Где ты запропастилась, негодная девка!

Вскоре Микита и Тимко сидели за богато накрытым столом, и Дегтярь уплетал за обе щеки с таким рвением, словно голодал по меньшей мере неделю. Тимко тоже ел, но больше налегал на вино; у него из головы не выходили обидные слова Ядвиги.

«Холоп... – думал он с горечью. – Ну конечно же, холоп! Куда мне против шляхетного панства. Вот тебя, брат-бурсак, и поставили на место...»

Ядвига чувствовала себя не в своей тарелке. Она боялась встретиться с Тимком взглядом. Лишь когда спудеи насытились и засобирались, она отвела Тимка в сторону и сказала, роняя слезу:

– Прости меня, любимый... Прости! Я полная дура! Я виновата... прости...

– Забудь, – коротко ответил бурсак. – Чего сгоряча не скажешь.

Он нежно привлек ее к себе и поцеловал в лоб.

– Вы, панна, посидите возле отца эту ночь, – сказал Микита. – Когда он проснется, дайте ему сначала подогретое вино, а затем похлебать горячей куриной юшки. И только потом, часа через два, ему можно будет плотно поесть. Там, на столе, я оставил травы, сделайте отвар, и пусть три дня ваш отец пьет его перед едой – немного, полкружки. На этом все. Бывайте...

Бурсаки вышли за ворота, и Тимко всей грудью вдохнул свежий ночной воздух, напоенный ароматами созревающих плодов. Ему вдруг захотелось лечь где-нибудь на пригорке, под звездным небом, подложить под голову кунтуш и крепко уснуть, как в детстве, когда он гонял лошадей в ночное.

– А что, хороша девка! – сказал Микита.

– Угу... – мрачно ответил Тимко и тяжело вздохнул.

Микита с пониманием хохотнул, обнял его за плечи, и они пошли по улице в ночную темень, которая укутала Подол плотной шалью.

Глава 7. Разбойники

Мэтр Амбруаз производил сильное впечатление. Мишель де Граммон жил в его особняке вторую неделю, но страх перед парижским палачом не проходил, только усиливался, несмотря на любезный прием, оказанный ему благодаря покровительству Пьера де Сарселя. Мишель и хозяин особняка почти не общались, да и не должны были – все-таки де Граммон был дворянином. Кроме того, существовало поверье: тот, кто дотронется до палача, обречен и рано или поздно окажется на эшафоте. Чего Мишелю, естественно, совсем не хотелось.

Мэтром парижского палача прозвали не зря – мсье Амбруаз считался выдающимся заплечных дел мастером. Он был невысокого роста, коренастый и физически очень сильный. Невыразительная плоская физиономия мэтра Амбруаза была очень смуглой, словно в его жилах текла цыганская кровь. Сходства с этим бродячим народом добавляли и черные вьющиеся волосы, чрезвычайно густые и жесткие, как лошадиная грива, превосходно заменявшие палачу парик. Мэтр Амбруаз, несомненно, был умен и грамотен. В его особняке имелась приличная библиотека, хранившаяся в трех шкафах розового дерева, а на столе в кабинете стоял дорогой письменный прибор и лежала стопка бумаги, исписанная убористым почерком.

По вечерам, когда палач возвращался с работы домой, он прежде всего ужинал в гордом одиночестве, а затем закрывался в кабинете и засиживался за писаниной до полуночи. Мишелю очень хотелось подсмотреть, что он там пишет, его так и подмывало забраться днем, когда палач отсутствовал, в кабинет и прочитать рукопись, но юного энергичного юношу угнетало положение затворника и больше интересовало, как идет следствие по дуэли. А о том, что оно ведется, ему сообщил де Сарсель.

Как-то Мишелю де Граммону довелось присутствовать на экзекуции, которую проводил парижский палач; правда, не мэтр Амбруаз, а прежний, который утопился в Сене, – или его утопили, правды никто не знал. Однажды летним днем, когда Мишелю было восемь лет, он увидел уличных мальчишек, бегущих

к перекрестку. За ними мчались сломя голову мужчины и женщины. Они толкались, оттаптывали ноги и награждали друг друга бранью; все спешили, поднимались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Конечно же Мишель не мог остаться равнодушным к этому переполоху и последовал за толпой.

Вскоре на улице, упирающейся в небольшую площадь, послышался шум, а потом показался старый осел, уныло тащивший деревянную тележку. Осла вел под уздцы сам палач, что удивительно; обычно он распоряжался только на эшафоте, а мелкими делами занимались его помощники. Этот смешной и одновременно ужасный экипаж окружала стража, стараясь оттеснить от него наседавшую толпу. Осел еле плелся, тележка качалась из стороны в сторону, ее большие колеса выписывали по мостовой кренделя и пронзительно скрипели. Единственным пассажиром экипажа оказалась совсем молодая женщина со связанными руками. Бедняжка была одета в белую сорочку, из-под которой выглядывали груди, и рваную юбку; с распущенными волосами, задыхающаяся, грязная, она, как загнанный зверек, безумными глазами смотрела на толпу.

Наконец кортеж остановился посреди площади, и судебный пристав деревянным голосом прочитал, что «...женщина, признанная виновной в нарушении запрещения проституткам входить в школьный квартал, по указу короля приговорена к публичному наказанию розгами на всех площадях того квартала, где она проживает». Палач передал поводья стражнику и со скверной ухмылкой на отталкивающей физиономии подошел к несчастной, которая пыталась освободить руки и прижималась спиной к тележке, словно ища у нее защиты.

Но сопротивлялась приговоренная недолго. Палач грубо повернул ее и, надавливая рукой на шею, заставил нагнуться и подставить спину для наказания. Другой рукой он поднял юбку вместе с рубашкой, и толпа начала хохотать и свистеть. Насладившись унижением бедной женщины, палач начал сечь ее розгами по обнаженным ягодицам. Удары наносились сильно, с оттяжкой, но медленно. Палач упивался процессом экзекуции; со стороны казалось, что у него есть какие-то личные мотивы для такой жестокости.

Дав ей двенадцать ударов, от которых спина и ягодицы женщины покрылись кровавыми полосами, палач опустил юбку с сорочкой, и несчастная жертва продолжила свое печальное путешествие до следующей площади, где ее снова должны были сечь с тем же церемониалом. Несколько позже Мишель узнал, что экзекутор и впрямь был неравнодушен к наказуемой проститутке. Будто бы она отказала ему в близости, и мстительный палач не преминул воспользоваться

служебным положением.

После этого случая Мишель де Граммон разлюбил подобные зрелища; он даже не бегал на Гревскую площадь, где часто совершались казни, хотя для парижских мальчишек это развлечение заменяло театр, куда могли попасть только представители высшего света. Он не боялся вида крови, а став старше, часто пускал ее, когда дрался на дуэлях, но смотреть, как измываются над беспомощным человеком, категорически не желал, чем здорово удивлял приятелей.

И все же Мишель не утерпел и пробрался в кабинет мэтра Амбруаза. Это случилось на десятый день его добровольного заточения в особняке парижского палача. А началось все с появления де Сарселья. Бретёр улыбался и весело шутил, хотя Мишелю было не до шуток.

– Сегодня прекрасная погода, – соловьем заливался де Сарсель. – Ах, каким удивительным было утро! Вчерашняя гроза отмыла Париж дочиста, и бродить по перелескам предместья – одно удовольствие. Свежий воздух, запахи травы и цветов, птички поют... нет, положительно, уеду из Парижа! Прикуплю себе небольшое имение и буду доживать среди девственной природы, не загаженной городскими нечистотами.

«Как же, уедет он! – саркастически подумал Мишель. – Сначала пусть испросит разрешения у Великого Кэзра, который вряд ли на это пойдет. Такой человек, как де Сарсель, ему нужен именно в Париже, а не в каком-нибудь захолустье».

Для него уже не было большим секретом, что бретёр появился в Париже не случайно и что он крепко связан с воровским сообществом. В чем точно заключалась эта связь, Мишель не знал, но в том, что де Сарсель исполнял заказы короля воров и нищих, он не сомневался. За это ему очень хорошо платили, но еще больше получал Великий Кэзр, потому как заказчиками выступали представители высшего света. Чего стоит лишь недавняя схватка наставника с хорошо известным всему Парижу дуэлянтом Фернаном дю Плесси.

Похоже, этот неумный молодец, считавшийся непобедимым, кому-то здорово насолил, и чтобы наказать его, обратились к Великому Кэзру, а тот, в свою очередь, поручил разобраться с дю Плесси своему человеку в лице де Сарселья. До этого два бретёра избегали встреч, хотя – в этом Мишель был уверен –

страстно желали скрестить шпаги, чтобы наконец доказать всему Парижу, кто из них лучший. Но оба были чересчур опытными бойцами, чтобы рисковать понапрасну, поэтому старались не становиться на пути друг у друга. Тем не менее де Сарсель вызвал дю Плесси на дуэль и убил его, хотя и сам получил небольшое ранение. Зато компенсация за рану, видимо, превышала все его ожидания, потому что де Сарсель в последнее время был радостно возбужден и начал поговаривать о намерении обзавестись усадьбой в провинции и наконец жениться.

- Мне бы ваши заботы... - буркнул Мишель.

- А мне бы ваши годы, мсье, - парировал де Сарсель.

Он мечтательно сощурился, немного помолчал, а затем продолжил:

- Да-а, погулял я... И понял, что судьба человека в целом зависит от него самого. Всевышнему нет никакого дела до ничтожной букашки, что бегаёт по земле, суется в поисках смысла жизни, которым большинство считает обогащение любой ценой. Нет, я не отрицаю, что Бог иногда помогает людям, но только тем, кто этого достоин. А это надо заслужить, часто потом и кровью.

- Вы заслужили? - с иронией спросил юный дворянин.

- Если бы... - де Сарсель вздохнул. - Видите ли, мой любезный друг, мои заслуги слишком часто входили в противоречие с христианской моралью, так что мне стоит полагаться только на себя, на свое везение. А что касается вас, то вам повезло - к молодым людям Бог относится снисходительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Туаз – старинная французская мера длины. 1 туаз = 1,949 м. – Здесь и далее – примеч. автора.

2

Ливр – денежная единица Франции, бывшая в обращении до 1795 года. 1 ливр = 20 су = 240 денье. Были ливры турецкий и парижский. Как монета ливр выпускался только один раз в 1656 году весом в 8,024 г (7,69 г серебра).

3

Прево – в феодальной Франции XI–XVIII вв. королевский чиновник или ставленник феодала, обладавший до XV века на вверенной ему территории судебной, фискальной и военной властью; с XV века выполнял лишь судебные функции.

4

Экю – название средневековых золотых и серебряных монет Франции. В 1640–41 гг., во времена царствования короля Людовика XIII, новой основной золотой монетой стал луидор, а все экю стали выпускать из серебра 917-й пробы. Первоначально экю стоил 3 ливра; позже его стоимость менялась, пока в 1726 году не была принята равной 6 ливрам.

5

Пинта – средневековая мера жидкости; английская пинта – 0,57 л.

6

Жиго – жаркое из сочной, хорошо упитанной задней части барашка или теленка; прозвище хозяина таверны было весьма симптоматично.

7

Бальи – в северной части средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа (бальяж).

8

Воздуси – наказание розгами, вымоченными в соленой воде, без скамьи, на весу, с помощью служителя.

9

Бурсак (от нем. Bursche) – парень, студент. Бурсой называлось общежитие при Киевском братском училище (с 1632 года – Киево-Могилянский коллегиум).

10

Афедрон – седалище, зад (устар.).

11

Спудей – студент или школяр.

12

Карабела – кривая сабля, имевшая широкое распространение среди польской шляхты в XVII–XVIII вв. Основным отличием карабелы является рукоять в форме орлиной головы. Похожие сабли применялись в разных странах, включая Русь. В Польшу этот тип сабель, скорее всего, попал из Турции.

13

Чамбул – отряд турецкой или татарской конницы, численно соответствующий полку.

14

Ясыр – пленник в виде воинской добычи; ясыры считались рабами, невольниками.

15

Польный гетман – заместитель великого гетмана, руководителя вооруженных сил Литовского княжества. В мирное время великий гетман обычно пребывал при дворе, занимаясь административными и стратегическими вопросами, а польный гетман находился «в поле», руководил войсками и охраной границ.

16

Стихи Франсуа Вийона, поэта французского средневековья.

Купить: https://tellnovel.com/gladkiy_vitaliy/korsary-meyna

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)